VASA INIQUITATIS
СОСУД БЕЗЗАКОНИЯ

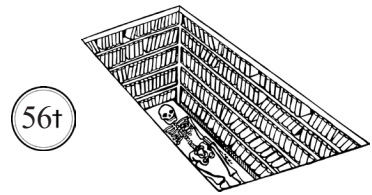
Эрве Гибер

ИЗ-ЗА ВАС Я ПОВЕРИЛ В ПРИЗРАКОВ

перевод Алексея Воинова

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



Hervé Guibert
Vous m'avez fait former des fantômes

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Дарья Громова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использована фотография Эрве Гибера "Автопортрет с бабочкой", 1986

©Éditions Gallimard, Paris, 1987
© Kolonna Publications, 2018
©Алексей Воинов, перевод, 2018

ISBN 978-5-98144-241-4

T.[1]

1 Тьери Джуно, возлюбленный Эрве Гибера. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

I

Побольше ночных игр![2]

2 Отсылка к «Эмилю» Ж.-Ж. Руссо: «Сколько наглядных познаний можно приобрести путем ощупыванья, даже ни до чего не дотрагиваясь! Побольше ночных игр! Этот совет важнее, чем кажется. Ночь, естественно, пугает людей, а иной раз и животных, Разум, познания, ум, мужество избавляют немногих от этого удела. Я видел, как умники, вольнодумцы, философы, воины, бесстрашные среди дня, дрожали ночью, как женщины, при шуме древесного листа...» *(Перевод П.Д. Первова)*.

Они хватали разгоряченных от бега, потерявших сознание жертв, взваливали себе на спины. Шатались по детским садам, поликлиникам, пряча лица под масками. Ручищи у них были огромные, таких на земле ни у кого больше не отыскать. У всех были прозвища: Пират, Малютка, Петрушка, Луна. Писать свои клички они не умели. Лица у них были свирепые, но, когда падал приглушенный свет, выхватывая порой лишь какую-нибудь деталь, тогда черты их казались тонкими, хрупкими. У одного, самого сильного – у Малютки – не росло ни бороды, ни усов. Они толкались, вопили во сне. В подвале, где было их логово и при входе в который требовалось называть каждый день меняющийся пароль, воздух висел тяжелый, едкий, пропитанный спиртными парами, башка от него шла кругом. Они не мылись, но Пират приносил из церкви флягу со святой водой, которую выливал потом в таз, приглашая остальных освежить ноги. Пират гордился своим жестоким умением – знал, как ловить малолеток в силки, поскольку то же самое проделывал, охотясь в лесу на куниц. Поймав, он тащил их за ногу, они брыкались, дергались, но Пират ногу не отпускал, ни к чему другому при этом не прикасаясь и утверждая, что плоть эта вызывает в нем отвращение.

Дети ценились, как золото, они взвешивали их, а позже продавали боссу по кличке Башка. Они держали их у себя год и более, чтобы как следует натренировать их мышцы и превратить в настоящих хищников. Они кормили их, как в зоопарке: в определенный час открывали один за другим мешки, побыстрее, чтобы ребенок не мог вырваться или наброситься на отца, – дети считали своих похитителей отцами, – и кидали туда кусок мяса и листья салата, какие дают черепахам. Детям очень нравилось. Им все время хотелось есть; почуяв еду, они начинали смеяться. Раз в месяц их высвобождали из мешков, дабы паразиты их там полностью не сожрали, вновь завязывали сорванные веревки, снова взвешивали, смотрели, не вытравило ли дерьмо печати с боков и ляжек. Следили за тем, чтобы не снимать повязок: ослепший ребенок для сражений не годен. И речи быть не могло, чтобы ослепить их специально: ребенок, потерявший зрение, к соревнованиям безразличен; упругость мышц, зрение, девственность и быстрая реакция на свет – вот главные козыри, когда идешь на бойню и видишь врага. Состязаний во тьме не устраивали, и требовались слишком мощные прожекторы, чтобы ночью было светло как днем, поэтому тренировались лишь при луне. Поганые люди взваливали тюки на спину, у каждого была своя ноша, зашнурованная, что просто так не освободишься. Чтобы добраться до леса, они их отвязывали, потом сваливали мешки в багажник, а сами жались в передней части фургона, зимой согревая друг друга, кутаясь в свитера грубой шерсти, от которой несло опилками, пóтом, овчиной и табаком, дети тогда тянули мордашки, чувствуя резкую

вонь. Луна носил шапку, как у Дэви Крокетта, с двумя лисьими хвостами с боков, порой он откидывал их назад, скрепляя там и называя «своими миндалинами». Взмахнув саблей, он сбивал горлышко с бутылки шампанского на капоте фургона, подельники пировали; заслышав звук бьющегося стекла, дети пугались, как кони, ведомые на убой. Негодяи мазались пеной, желая друг другу победы. Дети в мешках ворочались, чувствуя близость озера, ночной воздух, прислушиваясь к воплям спаривающихся животных, им не терпелось побегать. Разбойники останавливали машину возле опушки, на краю поляны, окруженной деревьями, луна отражалась в озере, куда они швыряли детей, если у тех уже не было сил или если они слишком яро кусались. Малютка был по части музыки, всяких симфоний, сонат, квинтетов; Пират предпочитал тишину; Петрушке нравился рок, а Луна хотел слышать одни детские вопли, злобные, похабные выкрики, жалобные оханья. Они пускались врукопашную, Луна с Пиратом были в команде против клана музыковедов, они плевали друг другу в лицо, Малютка делал зарубки на бицепсе, считая победы, дети теряли терпение. Верх над всеми брала тишина. Однажды ночью они хлопнули полицейского, заявившегося на звуки музыки; завидев фары, они засунули мальчишек обратно в мешки, а сами спрятались по кустам; полицейский остановил машину и направился к мешкам, в которых кто-то ворочался, тогда они скрутили его, запихнули обратно в машину и, набросав внутрь камней, столкнули ее в озеро; разлагаясь, труп его примкнул к трупам тщедушных девственников; в ту ночь дети уже не могли побегать. У каждого из

четырех ублюдков был свой парень, которого тот тренировал, науськивая против всех остальных, он высвобождал его из мешка и обвязывал веревкой длиною в десятки метров, затем отпускал, расставлял ноги, веревка начинала быстро разматываться, а сам он тогда был вроде столба. Ребенок всегда направлялся в самую темень, то есть в сторону леса, он этого не видел, но бежал все время на юг. Веревка свистела, словно буря сорвала все оттяжки и парус полетел ввысь, кожу на обвязанной талии начинало жечь. Ребенок никогда не стремился присоединиться к кому-нибудь из своих, хотя мог бы это сделать, ориентируясь по звукам, у детей были условные сигналы, чтобы перекликаться, они вынашивали планы побега, один из них пытался отыскать озеро, чтобы в нем утопиться, его туда и швырнули, привязав к спине камень, похожий на горб, Луна состриг у него все волосы и бесстыдно засунул себе в карманы, он их коллекционировал. Дети сочиняли молитвы, которые читали вслух лишь в одиночестве. Некоторые сразу же кидались на руки тем, кто их отвязал, и тогда не желавших бегать умерщвляли на месте. Прочно упершись ногами, мужчина напрягался всем телом, ожидая толчка, что может его повалить, а ребенок на другом конце веревки почти задыхался, веревка впивалась в ребра, он спотыкался и сразу же его тащило назад, голова утыкалась в землю, волосы были растрепаны, несколько минут ноги машинально двигались в пустоте, бедра сдавливало, краткий миг отчаянной, невозможной борьбы становился мигом непереносимого отчаяния; в это время мужчина с расставленными ногами, руки на ляжках, должен был, изогнувшись, держаться изо всех сил, чтобы

не рухнуть, боясь выпустить веревку, он ранил ладони, стараясь не кричать от жгучей боли в боках; повалившись наземь, ребенок пытался стянуть повязку, ему удавалось лишь ее надорвать, тогда он видел сквозь дыру лунный свет и сразу бросал затею, самая черная ночь казалась ему ослепительным днем. Ребенок пускался бегом, оставаясь на одинаковом расстоянии от столба, по опушке леса, вычерчивая под небесами пересекавшиеся радиусы, полукружья, запутывая рисунок, путался сам, топтал уже нарисованное, сводил линии воедино, линии то расходились, то опять сходились, пока веревка не разъединяла их вновь. Четыре живые мачты, восставшие в центре поляны, посылали звуковые сигналы, предупреждая детей о препятствиях, они орали, однако, казалось, крики лишь распаляют ребяческое рвение делать наперекор. Дети неслись до тех пор, пока не бились вдруг со всей силы животом о перекладину и пока не вонзалась им в тот момент в спину стрела, тогда они, шатаясь, шли к центру, подчинившись веревке, тихонько тащившей обратно. Луна занимался занозами, ему нравилось их вытаскивать; Пират предпочитал осматривать штаны, пусть даже рваные; Малютка смазывал хрупкие разгоряченные ноги; Петрушка считал, что следует вбирать в себя выдыхаемый измученными детьми воздух, чтобы выдыхать его самому, когда будет заниматься любовью, бабы приходят от него в исступление. Откупорили вторую бутылку, дети снова дрожали, а в это время у них осматривали повязки, Петрушка утверждал, что те надо заменить тюрбанами, которые закрывают сверху всю голову до самого затылка. Но Малютке нравилось протирать губкой лбы, он

говорил детям: «Вы никогда не состаритесь, у вас не будет артрита, люмбаго, волосы и зубы не выпадут, яйца не отвиснут, спермы будет все время полно, у вас не будет вонять изо рта, вы не потеряете память, вы не познаете страдания, кроме того, что вам будет даровано, оно будет чудесным, ослепительным и – последним». Детей засовывали обратно в мешки, клали в фургон, и маленький отряд похитителей отправлялся в обратный путь, Малютка засыпал на плече у Петрушки. Команду пополнили двое новеньких – Волк и Перо – бездельники и шалопаи, но охотиться они умели отменно. Чтобы вступить в шайку, они привели пятерых детей, отобранных с таким тщанием, что понравились всем. В подвале надо было повесить еще два гамака и залатать несколько старых мешков.

Луна ждал, пока остальные уснут. Взяв нож, с толстой ниткой и иглой в кармане, он пробирался во тьме меж подвешенных мешков, наизусть зная дорогу, он ходил по ней каждую ночь, один из мешков ждал его, не засыпая, дрожащий шар ткани, ворочающийся, напряженный в предвкушении жаркого рта и нежного, умелого, шершавого языка, он знал, как повернуться, как запрокинуться в своем укрытии, поудобнее подставив себя, не наталкиваясь на лезвие, нож вспарывал в том месте, где колени были уже разведены в разные стороны, ребенок старался удержать равновесие, в ожидании наслаждения кровь ударяла в голову, было слышно, как голые ноги скользят по плитке, было слышно рычание, Луна так жаждал очередной порции сока, что больше

не мешкал, уже не водил мясистыми губами по мешковине, как прежде, когда на ощупь искал отдающий мускусом выступ, слегка повизгивая, ища ртом, вертя мешок так и эдак, чтобы образовалась в нем впадина, где можно ткнуть ножом и, взрезав бурдюк, напиться, с закрытыми глазами он протягивал нож к обездвиженному мешку, уже слыша звук вспарываемой урывками ткани, ребенок скулил от счастья среди волокон, пыльных от высохшей спермы, что прятали его мальчишеский член, перепачканный и длинный, светлый и еще тонкий, набухший, кольчатый, пленительный и вонючий, Луна, открыв себе путь, тут же его заглатывал, поглощал, пожирал, кусал, брызгал слюной, орошая его, омывая пахучие складки, массируя членом десны, закалывая им себя, задыхаясь, наконец-то счастливый, позабывший, сколько ему лет и какую он вел прежде жизнь, и день сейчас или ночь, испытывает он любовь или ненависть, и плоть, которую он сосал с такой жадностью, принадлежала она ему самому или его детенышу, или зверю, или врагу, или мечте, или черту, Луна продолжал сосать детский болт, пока тот не брызгал в глотку, такой сытный, кислящий, отвратный, умопомрачительный, он мог часами трудиться над ним без устали, мог провалиться в сон, гипнотизируя мальчика замедлившимся дыханием и продолжая сосать, потом, зафыркав, проснуться, плюхнуть мешок на ягодицы, чтобы автомат с соком пустил его в изобилии и сок шел более животворный, более ароматный, его собственный здоровенный хуй, к которому он не притрагивался, болтался как маятник, увеличиваясь и твердея, разбухая, буравил перепачканную, пропитанную шерстяную ткань трусов,

протыкал ее насквозь, проскальзывая меж петель, чтобы тереться о более грубую ткань у самой ширинки, ища живую дыру, жерло, которое оставалось где-то вдали, и временами из него шел сок, но удовольствие от этого не ослабевало, и мошна, раздутая, рыжая, волосатая, как у тигров, была по-прежнему переполненной и горячей, ребенок в мешке слева не спал, пристрастившись каждую ночь, зажмурившись, прислушиваться к малей-

шим шорохам этой неутолимой жажды, восторженной возни в удушающей ткани, желая освободиться от мешка, будто от стесняющей движенья одежды, прыгнуть откуда-то сверху, будто с трапеции, к которой привязали его за кисти, чтобы оказаться во мраке и идти на запах, чтобы отыскать, схватить и похитить из бутоньерки трясущимися от голода руками, исцарапав о шипы губы, толстенный, лоснящийся, полный молока член, чтобы облизать его весь и сожрать, нарушив его неприкосновенность, поклоняться ему, идя на звук механической помпы, следя за паузами, за ритмом, за ярым ее ликованием, дабы соорудить насос собственный, наладить его, будучи прилежным учеником, но он был слишком застенчивым, чтобы пойти дальше своих бредовых фантазий, а кормящему мальчику уже надоело изображать из себя спящего, мертвеца, тщедушную жертву, он атаковал мужскую пасть, тер щеки, пихал язык в глотку, рвал губы, засаживал рывками по самые гланды, злобно, любовно, в этот момент он думал, что творит преступление, совершает животворную казнь, во время которой лишится себя, так насекомое сбрасывает кожу во время спаривания, жара, в которой он хотел раствориться, становилась обжигающей; приглушенным,

но властным стоном Луна подавал знак, чтобы немного помедлить, клал руки на упругие ягодицы мешка, он уже перестал их призывно похлопывать, и мальчишеский член у него во рту успокоился и немного обмяк, позволив дышать, Луна ждал естественного сигнала, которым послужит очередной вздох, а пока он закрывал глаза, у него оставалось еще немного времени, в голове гудело от тишины, все мысли были о члене царственного ребенка, почтившем его своей милостью, как следует сдобрившем, из-за которого он мечтал теперь о новых наливках, о новых настоях, первый проблеск зари, поднявшей дрожащие веки, освещал всю картину, он не роптал, что ночь заканчивается, теперь ему оставалось лишь чуть сдавить губами волшебную палочку плоти, дабы мед ручьями потек ему в горло, восхищая, разя его наповал, переполняя утробу, он выдавливал все до последнего сгустка, который хранил потом в тайнике меж деснами и губами, чтобы в течение дня перекатывать на языке, опасаясь лишний раз вдохнуть вольный воздух подвала, на котором влажный, теплый, фантастический сгусток мог бы замерзнуть, одно движение бедер, и детский член переходил изо рта в пропитавшийся по́том карман, Луна доставал толстую нитку, иголку и торопливо зашивал теперь дырку в мешке, ребенок уже свернулся калачиком, повернувшись так, чтобы шов оказался сверху невидим, и до подъема спал, восстанавливая силы после звучной безумной прокачки, вымотавшей его до предела, Луна возвращался в гамак, где при мыслях о содеянном и о том, что следующей ночью можно все повторить, дрожал от страха.

Притащив пойманного ребенка, его вытряхивают из мешка, при этом он за мешок цепляется или порой просто валится без движения на пол; бьет ногами, орет или замирает, не говоря ни слова; плачет с завязанными глазами или раззявливает рот, чтобы укусить; в этот раз он не успел подняться, как Малютка на корточках уже зажимает его голову у себя между ног и обматывает еще одним слоем повязки; Пират хватает цапающие, царапающие руки, пытается их успокоить, выкручивая пальцы, перочинным ножом отрезает злющие ногти, укрощенные детские ручки складываются, моля о пощаде; Луна занимается одеждой, он избавляется от вещей, которые были на ребенке в момент похищения, он не ждет, что ребенок ему поможет, он полосует одежду ножницами, швы трещат, тенниска, шорты разрываются на куски, обнажая плечо, ляжку, изгиб спины, из лоскутьев получатся прекрасные кляпы, затычки, Луна особенно боится, проводя лезвиями вдоль бедер, ткань натягивается, как бы не порезать заодно и белье, тогда взгляду сразу предстанет нечто, вызывающее ужас, он страшится, что поднимется новая волна похоти, что он предаст объект своего поклонения; когда член вяло вываливается или наоборот, восстает со всей силой из раскромсанного белья, он отворачивается, не хочет смотреть, опасаясь, что тот окажется слишком красивым, слишком миниатюрным, слишком живым, уже напряженным, сочащимся и божественно увлажненным; Петрушка ухватился за ноги, похожие внизу на маленькие бледные веретенца, он связывает их на лодыжках; рот так и норовит укусить, тогда Пират постановляет, что следует выбить молоточком все зубы, сделав из

них превосходные ожерелья, но все против; язык тоже не следует трогать, так как детям надо вылизываться и успокаивать им завистливых негодяев; в то же время следует позаботиться, чтобы они не могли рассказать о боли, надо устранить всякую возможность разоблачения и даже малейшую вероятность бунта; обездвижив ребенка, его переворачивают на спину; чтобы он не вырывался, болтая головой из стороны в сторону, волосы привязывают к кольцу, закрепленному в цементном блоке, на котором будут проводить операцию, в рот, чтобы не закрывался, негодяи вставляют угольник и вливают туда родниковую воду или же спирт, затем кладут кашицу из толченой травы, чтобы одурманить сознание; когда ребенок начинает бредить, Пират засовывает ему в горло ножницы, режет, кромсает там, ребенка сразу же переворачивают, чтобы кровь изверглась в бадью, затем рот наполняют кубиками льда и заклеивают пластырем; ребенка укладывают на одну только ночь на подстилку из перьев, и негодяи один за другим подходят и прикладываются к детскому лбу. На следующий день кровь уже не течет, говорить он больше не может, что-то тихонько бурчит, лед в истерзанном горле давно растворился, взгляд смягчился, но временами в нем читается ненависть, глаза все выдают. И все-таки жаль, говорит Петрушка, что приходится подрезать им в клювике, ведь можно было бы научить их петь, читать вслух, болтать, как мы. Ему говорят, что он недоумок. Что же касается оставшейся в бадье крови, Пират без задней мысли отправляется разлить ее по кропильницам в тех церквях, где берет воду для омовения.

Волосы еще не остригли, ставят клейма; номерки греются на огне, и неизвестно, какому из них – от первого до девятого, – выпадет честь увенчать детский лоб, какую именно цифру будут теперь целовать, прикладываясь ко лбу, где ее выцарапают, оттенят краской или выведут кислотой; ребенок и номер будут теперь одним целым, число станет именем, оно будет жечь, служить опознавательным знаком; спрятать его способны лишь вновь отросшие пряди или, если ребенок спасется, он сможет затребовать у татуировщика за определенную мзду скрыть цифру каким-нибудь сложным рисунком; временами ему будет сниться, что он сдирает со лба кожу, будто чистит какой-нибудь фрукт. Номерки в металлическом ящике, который на огне не горит, уже сдобрены ошметками кожи, что порой отслаивалась, когда они с дымком впечатывались меж бровей; Пират нагревает сталь, лишь он наделен сердцем, способным выдержать весь процесс штамповки; Перо расстолок фиолетовую краску и подготовил кисти, чтобы работать по свежей ране; Малютка занимается электрической машинкой, которая проталкивает крошечные капельки краски под кожу; Петрушка успокаивает ребенка. После новой поимки в подвале царит беспорядок, разбойники постоянно спешат, снуют из стороны в сторону, передают друг другу инструменты; дети в мешках настороже, они с жадностью ждут, когда же появится запах горелой плоти, спорят, подавая друг другу молчаливые знаки, им известно, что будет он кисло-сладким, отвратным, пронзительным, он выдаст, что рядом находится кто-то еще, кого они не смогут увидеть, поэтому нужно его себе как-то представить, причислив к врагам или союзникам.

Негодяи ищут среди висящих мешков пустой; если все заняты, идут к ящику, берут старый мешок и выбивают из него нечистоты, превратившиеся уже в пыль. Петрушка на коленях возле ребенка, стоящего на четвереньках; если тот все еще слишком строптив или продолжает буянить, ему делают неглубокий надрез на затылке, набивая внутрь свинца, чтобы получилось жалящее ярмо; Петрушка одной рукой берется за волосы, запрокидывая детскую голову, другой убирает пряди со лба; от запаха раскаленного добела железа ребенок ссыт ся и обсирается; Пират, зажав выбранный номерок пинцетом, прицеливается, стараясь попасть в середину, где порой различима вертикальная складка или родинка, рассекает воздух, идет пар; в последний раз тогда слышится голос ребенка, пытающегося закричать, взвыть, засмеяться или выругаться; Петрушка знает, что надо сразу же отпустить волосы, чтобы чуть усмирить боль, что волосы успокаивают кожу подобно вееру или тальку. Одна боль уменьшается, когда на смену приходит другая, они как бы растворяются друг в друге, поэтому сразу подходит Малютка с электрической машинкой и, пока Петрушка оттягивает нижнюю губу, торопится выгравировать, не поранив при этом язык, ту же цифру, которую только что запечатлели на лбу. Изо рта брызжет поток слюны, омывая бандиту ноги. Малютка поцеловал машинку перед тем, как ею воспользоваться, и испробовал на себе, выведя на каждом пальце по букве, которые вместе, когда рука сжимается в кулак, образуют «HAINE», ненависть. Он долго колебался, подумав, что ровно столько же букв в слове «AMOUR», любовь.

Сидя в джутовой котомке, ребенок может мочиться и испражняться днем и ночью когда угодно, моча и дерьмо – его питье и еда, целебная глина, примочки, присыпки, они пропитывают тряпье, испаряются, высыхают, ребенок мнет это все, лепит из жижи подушки, гетры, шлемы, когда же ему совсем грустно, он решает скатать шар, чтобы засунуть себе в рот и наконец задохнуться.

22

Когда приходит пора стричься, ребенка усаживают, не снимая повязки, на голове у него корона из свалявшихся волос, которые он теребит перед сном. За дело берется ворюга Петрушка, поскольку Пират не желает делиться своими бритвами. Кожа на голове должна стать пятнистой, в синюю крапинку, даже ближе к фиолетовому, которым расцветили отметину на лбу, смешав чернила с выступившей из раны кровью. А Перо тем временем хочет выкроить синего цвета одежду, он мечтает об униформе, о боевых нашивках, о матерчатых щитах, небесного цвета шлемах. Малютка же мечтает найти более широкое применение для волшебной электрической машинки, пройтись ею по всему детскому телу, от обритой головы до самых стоп, которые надо регулярно обрабатывать и зачищать, чтобы они плотнее прилегали к настилу арены, он способен покрыть все тело таинственными начертаниями, и никто бы не смог постичь смысл нарисованной им поэмы, он бы выгравировал змей на бедрах, для каждого лица придумал бы одну или несколько масок, изобразил бы чью-нибудь морду на носу, вывел клювы и рыла у губ, заточив их в телесные рамки, создав подлинные обман-

ки, начертил бы на головах планисферы, очки, которые надевают рабочие на рудниках, обработал бы каждую фалангу, чтобы буквы из слова «HAINE» проступали на коже в обратном порядке, превращаясь в звездные кратеры. Ребенок стоит голый, он ни о чем не грезит, прислушиваясь к лязгу ножниц возле повязки, чувствуя, как пряди падают на плечи, волосы щекочут нос, он чихает. На смену начавшим с самых концов спокойным и легким ножницам приходит холодная дергающая машинка для стрижки, которую больше интересует плоть, нежели волосы, она находит каждый холмик и выступ, чтобы взборонить его, расцарапать, и остервенело набрасывается на затылок, поскольку он особо упорствует, словно крепость, держащаяся на искусных уловках, изысканная утонченность; машинка должна все это изничтожить. Пират отказывается одолжить свои бритвы из-за желания возвести их в особый разряд, он хочет, чтобы они порхали от головы к голове, подобно невидимым булавам жонглера, хочет, чтобы они скакали по выстроившимся в ряд башкам, словно по брускам ксилофона, говорит: «Ох уж эти ваши синенькие детишки! Мои бритвы предназначены для их морд! У негров ведь есть особые ритуалы, когда они себя режут! А раскромсанные щечки послужат нам для удовлетворения самых насущных нужд!»

Луна напоил Волка, давал ему одну за другой, а в конце концов лил уже прямо в рот, они впервые разговорились друг с другом, и Луна с таким упорством старался оттянуть момент, когда Волк очухается, хотя тот давно уже набрался выше крыши,

что это наводило на мысль: Луна решил сделать его соучастником чего-то постыдного, бутылка была наполовину почата, пили они чистый спирт, которым обрабатывают раны и от которого кровь гудит, распирая вены, чувства переполняли их, ими владело уже неистовое сладострастие, они не касались друг друга и смотрели вниз, словно животные, что замерли перед случкой, другие все спят, они сидят друг против друга на гамаке Волка, куда заявился Луна, сбросив башмаки, штаны у него расстегнуты, одна вонючая босая нога нервно дергается, другая свесилась в темноту, расхристанные, обалдевшие, они выдыхают друг на друга облака удушающих спиртовых испарений, слюна брызжет, взгляды блуждают, они различают висящие во тьме хрупкие образы, от которых исходит удивительное свечение и которые тут же меркнут, стоит лишь шевельнуться, у собутыльников в глазах двоится, троится, а потом вдруг кажется, что оба они единое целое, расстояние меж ними страшно уменьшилось на гамаке, который покачивается на шарнирах под их двигающимися телами, и они могли бы на него повалиться, обнявшись, вцепившись друг в друга и кусаясь, пока один не уступит, отдавшись другому, но Луна как раз решил за этим следить и направлять сбивчивые мысли Волка в нужную сторону, он замечает, что у Волка в расстегнутых штанах стоит колом и взгляд его устремлен вниз, словно перед ним возникла галлюцинация, на его собственный хуй, который вот-вот подскочит, готовый уже, чтобы ему поклонялись, однако Луна не обращает на это внимания, скрывая эрекцию и зажимая хрен между ног, он снова протягивает бутылку, едва не выбивая у Волка

зубы, говорит: «Лакай, башка, пососи из холодного горлышка, согреешься!» – И он понимает, что этот заход должен быть последним, поскольку с новым глотком тот уже выходит из себя, он видит, что Волк готов наброситься на него, сдернув рубашку, и швырнуть плашмя, чтобы пройтись как следует по спине, готов схватить любой валяющийся обрезок кожи, соорудив хлыст, и Луна должен поторопить события, поскольку опасается также, что Волк поднимется на дыбы, заартачившись, и повалится затем без сознания, а ему надо еще столько всего вбить в голову, и он говорит: «Ну что, горлышко-то, небось, заледенело? А у меня есть для тебя такое теплое, с каемочкой, и то так приятно сосать, из него льется нектар просто божественный!» – «Вот мразь! – кричит Волк. – Ты хочешь подсунуть мне свою кочерыжку, да?!» – И вдруг отворачивается, словно заметил что-то во тьме, Луна спрашивает: «Видишь? Вон там бабища с толстыми титьками, трясет ими, чтобы хуй встал. Разглядел? А теперь расставила ноги, показывая пиздень, и машет нам, чтобы ее отделали. Смотри, какая горячая, мокрая, здоровенная, мы можем ей заправить оба одновременно и напихать по самые гланды, давай!» Волк слез с гамака и шагнул в темноту, но Луна показывает ему в другую сторону, толкая к проходу, в котором висят мешки, он вытащил из кармана нож, и Волк, пошатываясь, испугался, подумал, что Луна хочет перерезать кому-нибудь из детей глотку, чтобы одарить его свежей волшебной дырочкой, Луна останавливается, оборачивается и говорит Волку: «Ну, где твой хуй? Доставай, покажи его мне, покажи, какой он у тебя огромный!» – И Волк сразу же вываливает свою дубину, уже надутую и

всю в пене, Луна говорит ему: «Вместо того, чтоб нестись по накатанной, не желаешь ли ты отведать чего-то более сладостного и порабощающего, оживляющего все твои чувства? Слушай, ты бы мог сменить лошадей, принявшись за воздержание особого рода, начав усердно трудиться одними только устами, тогда млеко твое забрызжет не из плоти, а из души, точнее, из душевного твоего члена… Подойди же к мешочку, понюхай, почувствуй, как кабан чувствует в земле трюфель, и подчинись, открой рот и трудись над тем, что войдет в него, ласкай, заглатывай, поглощай, поклоняйся этому и не останавливайся, пока оно не забрызжет, пока не затопит тебя, пока тебя не перепачкает, не засеет, не оплодотворит, не поразит молнией, не сотрет всю память и не сделает навсегда из тебя преданного самоотверженного раба, настойчиво множащего это млеко!» Ребенок узнал звук шагов и тот шепот Луны, каким он обычно просил запустить ему в рот с еще пущим старанием, ребенок сразу же повернулся, чтобы высунуть навстречу свой член, но услышал, как кто-то незнакомый икнул и недовольно зарычал, и ребенок застыл, изогнувшись, замер от страха, по привычке чувствуя возбуждение, ткань мешка, где был шов, зашуршала, и детский член, ударившись о небритый подбородок, в надежде на удовольствие, принялся тыкаться в плотно сжатые губы. Волк взревел и со всего маху оттолкнул мешок в сторону, схватил Луну за шиворот: «Так вот, что ты хотел пихнуть мне в рожу! Сучий ты потрох! Этого вонючего моллюска?! Да я тебя сейчас порешу!» Но Луна стоял разомлевший, ему было не страшно, он зашел уже слишком далеко, моллюск сразу же спрятался в свою раковин-

ку, а Луна, припав к мешку, к опустевшей дырке, начал выдыхать внутрь весь свой жар, чтобы тот появился опять, и, оторвавшись от мешка только на миг, Луна шепчет Волку: «Я тебе покажу, сейчас сам все поймешь!» Перед Волком вдруг предстает умиротворяющее видение: вместо выпрастывающегося наружу розоватого комочка плоти, потихоньку растущего, взбухающего, когда Луна вбирает его губами, он видит бабочку, пытающуюся выбраться из кокона и расправить крылышки, Волк поражен, он подходит поближе к Луне, у которого рот уже полон, и говорит ему: «Ты что же, жрешь бабочек, да? Этим ты занимаешься?» Луна поводит языком, разжимает рот и выпускает детский член, лоснящийся от слюны, говорит Волку: «Я научу тебя кормиться бабочками!» – И он высовывает язык, чтобы лизнуть член, демонстрируя, как это делается, щекочет языком нежную каемку, косясь на то, как член вздрагивает, покачивается: «Можешь попробовать сам! – говорит Луна Волку. – Посмотрим, чей язык проворнее, сможешь ли ты украсть у меня мою бабочку, сможешь ли согреть ее и довести до того, чтобы она залетела не ко мне, а к тебе в рот! Что ж, дарю тебе возможность испытать свои силы!» Языки Луны и Волка касаются друг друга, облизывая, вылизывая подскакивающий детский член, который ждет, когда же Луна подставит рот, чтобы в него вытечь, но Луна мешкает, он упивается терпким пьяным жаром, исходящим изо рта Волка, их лица совсем близко, он пристально за всем наблюдает, тогда как глаза Волка закрыты и он всякий раз слегка отстраняется, когда член вздрагивает, боясь, как бы на заглотить его целиком, в то же время мешая Луне, и вдруг

Волк начинает двигаться с яростью, словно обезумев, ему кажется, он целует несуразный кусок плоти так, как не целовал никогда никого, Луна, опустив взгляд, замечает, что хуй у Волка торчит из штанов наружу, дергается, из него на рубашку льются потоки горячей спермы, Волк хлопает ребенка по заду, чтобы мальчик в свой черед тоже кончил, два перепачканных рта соревнуются меж собой, и Луна, улыбаясь, глядит на прекрасное лицо Волка, по-прежнему мрачное, отчужденное, но теперь спокойное, безмятежное. Ему кажется, он различает на белом лбу извилистую вену, она вздувается, лопается.

Во рту у мальчишек жила мокрота, они были специалистами по плевкам, оптовыми поставщиками слюны, они постоянно прижимали языки к нёбу, чтобы из желез все время текло, катар этому только способствовал, они смешивали слюну с ядом, они им меж собой торговали, из переполнявшей рты жидкости делали потайные припасы, наполняли ею склянки, мечтали обзавестись бочками, пролить искусственные озера, обустроить плотины, мечтали, что плотины прорвутся и разбойники утонут в общей слюне, они мочили в ней одежду, думая, что в случае нападения ее можно будет скрутить и обороняться, они натирали ею голову и живот, они сушили ее, чтобы собрать эту пыль и смешать с высушенными соплями, скатанные из полученной смеси шарики они нарекали своими самородками, кругляшками, взрывчаткой, измеряли их вес и обменивались ими, тренировались плевать как можно дальше, плевать через голову, плевать, опустив голо-

ву, плевать, не раскрывая рта, плевать через нос, плевать, изогнувшись, чтобы попасть в собственную задницу, плевать в движущуюся цель, надувать щеки так, что, казалось, они полопаются, варьировать вес и форму своих снарядов – это могла быть тонкая прозрачная струйка, разбивавшаяся, достигнув цели, на пять или десять отравленных капель, или же это могло быть комковатое месиво, ложившееся пятном, счистить которое до конца никогда не удастся, оно могло не пахнуть ничем или же быть отвратным, вонять жратвой или тухлятиной, дети говорили: «У нас во рту холера! Оно стоит дороже золота! Мы можем вызвать настоящую эпидемию, мы богаты!» Когда же их заставали ковыряющимися во всей этой слизи, словно в теплой и грязной луже, они принимали жалобный вид, показывая на мокрые повязки, и притворялись будто рыдали.

На бумаге, на ткани Перо рисует и перерисовывает различные варианты униформы, то добавляя множество деталей и украшений, то делая ее скупой и строгой, униформа все время только синего цвета, он представляет себе боевой плюмаж, шелковые шоры, съемные эполеты, простое гофре, которое можно накинуть на ребенка, предварительно намочив, чтобы, высыхая, ткань стянулась, образовав второй слой синюшной кожи, представляет себе сапфировые переливы, которые, сияя, обтянут округлые плечи и впалый живот, представляет мерцанья топаза, которые извилисто лягут вдоль позвоночника, Перо заштриховывает линии складок, малюет синие картинки, уже одних акварелек столько, что

ими можно укрыть всех детей, но не бывает недели, чтобы он не придумал какую-нибудь новую форму, облегающую целиком все тело, с украшениями еще более мудреными, или же он раскладывает эскизы и выкройки перед недовольными рожами пособников, отвечающих все время одно и то же: «Ты упертый чокнутый долбоеб! Люди придут на спектакль только потому, что мальцы все голые, попробуй одеть их, и сразу придется менять профессию! Ты, к примеру, можешь стать крысоловом, займись лучше этим!»

В каждом мешке проделано два отверстия, две дыры, достаточно тронуть рычаг, и мешки приходят в движение, семь пар ног распрямляются и болтаются в разные стороны, пока натяжное устройство выравнивается, превращая ношу в подвесные люльки; один оборот, и мешки повисают где-то высоко, каждый на отдельном крюке, чтобы Малютка мог свободно перемещаться меж раскачивающихся ног, поскольку ему поручено глядеть за этими кабинками, ведь в его ведомстве находятся также присыпка, масло, колотушки, гладилки, терки, пинцеты для выщипывания волос, лед и кипяток, отвлекающие лекарственные средства, он сосредотачивается на ступнях, которые прямо перед ним, они вдруг отскакивают, почувствовав ланцет, которым следует поработать над какой-нибудь веной, ноги не должны быть толстыми, не должны быть мускулистыми, для сражений важно, чтобы они оставались тонкими, хрупкими и научились на все реагировать быстро, пусть сухожилия станут невероятно податливыми, Малютке вменено в обязанность

дубить и укреплять кожу, натирать ее воском, проверять чувствительность, измерять обхват, он должен беспрестанно похлопывать ноги, следя за их состоянием и составляя каждой паре программу для тренировки, предусматривая поведение при скачке и проигрыше, а главное – смотреть, насколько они гибки, чтобы потом, на песке, они выдержали как можно дольше.

31

Раз в месяц детей отводят в парильню, у них договор с владельцем, они сохранят для него два билета на представление, из тех, что получили от Башки, а взамен он отворяет им двери рано поутру, когда порядочные люди еще не проснулись. Парильня находится в пригороде, это просторная комната с влажными облупившимися стенами, вдоль которых с трех сторон стоят деревянные скамьи, с четвертой стороны – плотно закрывающаяся дверь с большой ручкой в виде автомобильного руля и похожим на иллюминатор окошком, таким грязным, что ничего не разглядеть ни с одной, ни с другой стороны, потолок на пару весь растрескался, с него падают обжигающие тяжелые капли, на полу лежит плитка, местами страшно скользкая, местами побитая и шероховатая, из дыры шириной с руку, спрятанной под одной из скамеек, временами вырывается струя пара, рядом пролегает желобок со свежей водой, идущий к самому центру, где в бассейне с отслаивающимся алебастром плещется какая-то муть; на улице еще темно, детей вытряхивают из мешков и, связав по ногам, делят на две колонны, отправляя затем в фургон, Малютка и Петрушка садятся позади вместе с ними, чтобы

стеречь, Луна запрыгивает вперед к сидящему за рулем Пирату; остальные лежат по гамакам. Припарковав фургон как можно ближе ко входу в парильню, детей выпускают из задней двери, Пират, оглядывая улицу, курит сигарету. Луна по привычке направляется к хозяину и просит включить паровую машину на полную мощность и не скупиться с бельем, поскольку тот старается все время подсунуть кучу полотенец, уже использованных клиентами накануне, Луна швыряет их на скамейки и затем приводит в хаммам детей, расставляя их вокруг бассейна, просит Петрушку запереть наружную дверь и ждет, пока пар, вначале робко стелившийся по самому полу, а теперь уже валящий густыми клубами, заполнит всю комнату, чтобы снять у детей повязки, эта белизна ослепляет их, они все одновременно начинают вопить, фыркать, ударяться головами, и Луна, садясь на корточки, развязывает в этой неразберихе на ногах веревки, он поднимается и видит, как дети исчезают, улепетывая в непроглядной белизне, каждый раз он хочет остаться подольше, хочет побежать за ними, но Петрушка сразу же открывает дверь, чтобы он вышел, и каждый раз выговаривает ему с безразличием одним и тем же тоном, небрежно и машинально, напустив на себя грозный вид: «Ты слишком привязался к парнишкам! Это может плохо для тебя кончиться. Пират уже просек, он пока молчит, но когда-нибудь все тебе выскажет…» Луне наплевать, он стоит, приклеившись носом к иллюминатору, он ничего не различает, он силился представить глаза детей, прислушивается к их смеху и выкрикам, однако дети чаще всего таинственно затихают, скользят где-то там в заснеженном поле, лепят из пара снежки, чтобы со всей силы кидаться ими в лицо

друг другу, играют в слепцов, шаря вокруг руками, обжигаются о нагревшийся алебастр и плюют в прохладную воду, на обритых головах поблескивает инеем отставшая кожа, насекомые скользят вдоль тела, пытаясь за что-нибудь уцепиться; №2 – паренек Луны – заполз под скамейку, чтобы вдыхать пар прямиком из трубы, пока остальные его не видят, обернувшись, он заткнул себе зад и принялся поедать белых барашков: – «Теперь буду пердеть снегом!» – говорит он себе, смеясь, остальные хватаются за полотенца и хлещут друг друга, водружают себе на голову тюрбаны, напяливают юбки, складывают звезды, скручивают новые повязки, моют пол, стоя на четвереньках, от жары и влажности они возбуждаются, машут руками, загребая побольше пара, чтобы тот вился возле их членов, которые они зажимают в ладонях и трут, они лепят из пара человечков, лепят страшилищ, которые их насилуют и в объятьях которых они кончают, и Луне, прильнувшему к белому кругу иллюминатора, выпучившему глаза, когда едва различимые темные силуэты за стеклом сталкиваются, мерещатся беспрестанные спаривания, снежная оргия; «Так что, они там ебутся? Да или нет? – спрашивал Петрушка, хлопая его по спине и разворачивая, чтобы вручить ворох повязок. – Давай уже! Светает, Пират будет злиться, а, если он к тому же проиграл, то вони не оберешься!..» – Пират все это время играл в кости с хозяином, а Малютка слонялся вокруг детского сада. Луна орет, чтобы все сошлись в круг, №2 прятался под скамьей, он знал, что здоровенная ручища сейчас его вытащит, стряхнув ему капельки с хуя, а Луна в это время думает, что от хуя грядущей ночью будет пахнуть жавелевой водой, но он быстренько избавится от этого запаха.

Как правило, в подвале с переменным успехом старались держать две группы детей, выстраивая их в два ряда по семь человек – только что украденных и едва обученных «малышей» и «взрослых», готовых к сражению, выросших уже здесь, очень злобных, ожесточенных и вышколенных – с упругими мышцами на ногах, крепкими кулаками, острыми зубами и ногтями – рвущихся в бой и напоминающих всем телом увесистые палицы; такой молодняк был опасен. Шестеро сражались на арене, седьмой был в запасе на случай, если кто-то сломает ногу, у кого-то не выдержит сердце, часто что-то случалось с одним из детей во время транспортировки. Мешки для малышей были тесными, тряпичные клети не рассчитаны на прирост, большие мешки взрослых почти касались пола. Друг друга дети не знали, разве что слышали иногда поскрипывание крюков и скулеж где-то вдали, их старались меж собой не сводить из страха, что взрослые малышей растерзают. Луна, жутко напуганный, придумал обходной маневр: каждый раз он вытаскивал №2 из полагавшегося ему теперь мешка для взрослых и совал обратно в мешок для маленьких, из которого его выселили, поскольку он стал слишком большим и тяжелым, маленький мешок болтался подозрительно низко, ребенок рос очень быстро, и крюк мог сломаться. Когда №2 вытряхивали, чтобы измерить рост или вес, он старался во всем походить на задохлика, уже смекнув, что спасенной жизнью обязан горячей глотке и этой простой уловке.

Волосы отрастали, и стригущий лишай чертил на головах тропы и звезды, раны то расползались, то затягивались, лишай буравил кожу, насаждая на головах сады, уродуя волосяные корни, захватывая области, где волосы росли гуще всего, там он гнездился, распыляя споры в грязи за ушами, добираясь ночами до самых бровей, где вывести его еще труднее, покрывал брови студенистой порослью, похожей на сырные крошки, распространялся в областях, где волосы стояли торчком, чтобы те полегли, лишай обожал густые остриженные гривы и непослушные вихры, которые срезал на корню, он выслеживал, где волосы принимались снова расти, он обжирался шелушащейся кожей, свивал гнездышки, чтобы укрыться от ногтей, которые превратили бы его в ни на что не годную ничтожную капельку крови, он утаскивал состриженные волосы, чтобы мастерить из них мотыги для вспахивания и соломинки для кормления, голова служила земным шаром, машинка для стрижки волос была большой, но нелепой соперницей, а лобковые вши приходились ему настроенными враждебно кузинами, и он непрестанно множил свои богатства, чтобы всегда иметь возможность вторгнуться на их территории, поскольку знал, что места там еще более плодородные, а воздух благоухает.

«Парни – это не для меня! – говорит Волк Луне, который снова попытался его напоить. – Мне нравится их ловить, муштровать, нравятся опасность и деньги, которые нам за них платят; и та штукенция, из-за которой мы в прошлый раз чуть было не подрались, в конце концов мне тоже

понравилась, это правда, когда она оказалась у меня во рту, было забавно выхватить ее у тебя, но еще больше мне понравилось смотреть, как ты моргал от растерянности, потому что в тот самый момент ты уже не был похож на человека, клянусь тебе, ты был похож на зверя, мне казалось, что на щеках и на лбу у тебя растет шерсть, это тебя должны были прозвать Волком, но сам бы я не хотел опять сосать хуй у того мальчишки, меня от такого не штырит, а скажи, ты сам-то не пробовал его выебать, в рот, например, или в задницу?» – спросил Волк. – «Нет, – ответил Луна. – Я об этом не думал, и точно так же не думал предлагать тебе со мною потрахаться, поскольку мне кажется, что от твоего хрена меня так же бы затошнило, как тебя от хуя того малыша, твои причиндалы оказались бы слишком здоровенными для моего рта, я начал бы задыхаться, твой хуй меня бы прикончил, я бы боялся, что он выбьет мне зубы, что ты кончишь мне в глаза, пробьешь дыру в черепе или что от твоей спермы останутся на лице следы, которые мне не удастся стереть, несводимые, как какая-нибудь татуировка, тогда как детский член я могу пробовать, никогда им не пресыщаясь, и мой язык способен без устали отыскивать и распознавать все вкусы, которые там припрятаны между складок, мой рот уже научился ощущать, как хуй понемногу растет, я уже не могу без этого обойтись, если меня этого лишить, то это все равно, что отнять руку, ты меня понимаешь?» – «Пойдем! – говорит ему Волк, нежно улыбаясь и ведя его за руку к мешкам малышей. – Должно быть, ты хороший специалист по отсосу, покажи ему, как нужно вести себя со мной». – И Волк, остановившись перед мешком №2, вытащил хуй

и начал тереться им о грубую ткань, где ложбинка меж двух бугорков. – «Разрежь вот здесь и скажи ему, что я могу сунуть ему в рот или в задницу, как ему больше хочется, на это наплевать, но пусть он как следует обработает мой хуй, как следует его сожмет и вычистит, я не мыл его уже неделю, так что пусть он его помоет, а потом сразу же перепачкает, чтобы вылизать снова, я могу кончить раз пять или шесть». – Луна в нерешительности вскрыл мешок там, где привык, и Волк сразу же сунул туда свой хуй, ткнувшись меж ног ребенка, который не понял, что происходит, и сжался от страха, дрожал на дне мешка как можно дальше от дырки. Волк отобрал у Луны нож и, схватив мешок с самого верха, полоснул вдоль всей ткани, проведя ножом заодно и по позвоночнику. Ребенок из мешка повалился на пол, ударился, весь съежился, зубы у него застучали. Волк вцепился ребенку в плечи, грубо приставив голову себе к хую и, держа за уши, начал тереться, ища отверстие. Но ребенок сопротивлялся, выплевывал здоровенный хуй, и, несмотря на то, что человек бил его ногами и руками, снова и снова кусал омерзительную и вонючую палицу, вызывавшую в нем лишь ужас. Луна попытался вырвать ребенка у Волка, но тот приставил ему к животу нож: «Покажи ему!» – проговорил Волк, и Луна, подчинившись, сел на корточки перед волчьим хуем, который был такой здоровенный, что начинался на уровне подбородка и заканчивался выше лба, а толщиной был с шею. – «Покажи ему, а то я его продырявлю и вскрою горло, и тебе придется потом от него избавляться, и сними с него повязку, я хочу видеть его взгляд, хочу видеть в нем страх!» – Повязка упала, голубые, обезумевшие

глаза уставились на знакомый рот, внезапно представшее перед ним лицо и налитую кровью балду, вылезшую из белесых складок огромного мокрого хуя, который то поднимался, то опускался и был похож на только что вынутое из груди бьющееся сердце. Ребенок в кошмаре моргал, будто собираясь упасть в обморок, не сводя умоляющего взгляда с Луны, отвернувшись от елдака, который Волк сжимал в руке, собираясь пройтись им по щекам и шее ребенка. – «Он что, не голоден? – ухмыльнулся Волк. – Ты слишком хорошо его кормишь и дурно воспитываешь. Твой паренек не хочет жрать то, что ему предлагают. Объясни ему, как это вкусно. Видишь здесь внизу большую синюю жилу, готовую уже взорваться, она петляет, словно поток, обработай-ка ее языком вдоль и поперек до самого дупла, чтобы я вас всех обкончал!» – Луна, словно почувствовав внезапный голод, закапал слюной и, взглянув на ребенка, повиновался Волку, начав вылизывать извилистую вену меж ног у Волка, у ребенка тоже пошла слюна. – «Давай, покажи ему, как это делается! – прорычал Волк. – Пусть повторяет за тобой, я хочу, чтобы он пощекотал бритой головой мои яйца. А, когда все хорошенько вылижете, как два пса, тогда заглатывайте оба, одному тут не справиться, и трухню всю сожрите, тогда я про вас забуду, представляя, что меня массирует и сжимает какая-нибудь шлюха, промывая в своей пизде мои трубы!» – Ребенок решил повторять за Луной, а тот позабыл о Волке, ему казалось теперь, что он обхаживает хуй паренька, который просто почему-то вдруг стал больше обычного, и №2 уже высунул язык, чтобы пойти по поблескивающему следу, оставшемуся после Луны, Луна же остановился, пока малыш лизал, повторяя за

ним; Луна воспользовался моментом, чтобы пососать детский подбородок и шею, но Волк двинул его ногой по заднице. – «Не останавливайся, подонок, хватит думать только о себе, продолжай, вернись и соси дальше, а он пусть идет за тобой, потом ты пойдешь за ним, а он тогда будет сосать, и не деритесь, места тут на всех хватит!» – Ребенок посасывал и облизывал толстый член со всех сторон вдоль и поперек, пытка превратилась в игру, ему хотелось смеяться, он спешил, ворча, за усердными губами Луны, хотел, чтобы тот уступил ему новую часть, которая была еще лучше, он никогда еще не пробовал на вкус такого хорошего и свежего мяса. Не предупреждая, Волк кончил ему в самое горло и, застегивая ширинку, сказал Луне: «Повяжи снова повязку и побыстрее зашей мешок!» – Он сплюнул и растянулся на гамаке. №2 хватило времени, чтобы быстро оглядеть весь подвал.

У №5 зрение самое зоркое, а мышцы лица очень натренированы, он беспрестанно моргал, ткань на повязке в области глаз стала в конце концов тоньше, и он смог кое-что сквозь нее различать; руки у него завязаны за спиной, поэтому он был не в силах предпринять что-то более существенное, однако он копошился в мешке, стараясь зубами протереть в ткани брешь там, где мог бы потом приставить лицо, когда улучит момент, чтобы спокойно в мешке встать, притаившись и не потеряв равновесия. Его мешок висит ближе всех к самому логовищу бандитов. Когда ему удастся совместить обе крошечные потайные прорехи, он различит, разглядит в подробностях и распозна-

ет их лица, разберет, кого как зовут, у кого какие привычки, поймет, как они кормятся и в каких позах спят, запомнит, где они прячут оружие. Ему удалось уже порядочно протереть повязку, порядочно измусолить толстую ткань, и вот однажды ночью он снова поднимается и в тканевой оправе повязки появляется радужка, зрачок вперяется в протертую в мешковине прореху. Он видит тени. Перед ним предстает в свете газовых ламп и свечей на ветру мерцающая картина, раскачивающиеся под весом рухнувших тел гамаки, огромные тюки, походящие по форме на веретена, в которых упрятано множество синеватых тел с неразличимыми очертаниями, №5 видит спаривающихся сказочных существ. Тигр ебет в задницу Пуму, у которого отсасывает Леопард, а Ягуар лижет сзади огромные, желтые, покрытые шерстью яйца Тигра, болтающиеся в разные стороны, когда он вынимает хуй из черного зада Пумы, чтоб засадить еще глубже, Леопард краснеет от удовольствия, косясь на длинную розовую елду Пумы, вываливающуюся из темно-синего, почти черного мехового футляра, чтобы Леопард лизал ее и покусывал своими клыками, Лев на бархатных лапах бесшумно обходит всю сцену и приближается к Тигру, собираясь вхуячить сзади, но тот сразу же отскакивает от Пумы, обороняясь, вцепляется Льву в шею и старается его побороть лапами, подмяв под себя, под ходящие в стороны бока, по которым пробегают электрические заряды, и под подпрыгивающий хуй, Лев выпячивает зад, как если б собирался посрать, чтобы Тигр его пробуравил, падает наземь и валяется, ища еще не вставленный кому-нибудь в жопу хуй, который он смог бы вылизывать, пока Тигр будет внутри, к

нему подходит пятнистый Леопард, чтобы выебать львиную морду, но неровные мерцания в зооскопе и механическое умножение тварей зверинца действуют усыпляюще, веки №5 закрываются, чтобы во сне явились ему очертания более реальные.

№2 знал, что достаточно ему хорошенько двинуть ногой, и мешок раскроется, словно ореховая скорлупка, поэтому он старался особо не шевелиться и, когда ночью пришел Луна, вел себя, как обычный пленник. Может статься, Луна последний раз брал у него в рот. Теперь настала пора решить, когда же бежать, о какое лезвие перерезать путы, какую еду захватить с собой, под какой шапкой спрятать отметину на башке и какую одежду напялить. Однако, когда №2 бесшумно выскользнул из разорванного мешка и тихо подкатился к ножу, собираясь перерезать на руках веревку, он позабыл обо всей придуманной им стратегии и порядке следующих действий, он пошел взглянуть на рот Луны, тот манил его, он хотел на него посмотреть. Луна спал в гамаке, голый, лежа на спине, одна рука свесилась, другая на груди, скомканная одежда заменяла подстилку, из скрученной валиком куртки под головой не торчало никакого оружия, можно было взять лишь его башмаки. Чтобы высвободиться из пут, связывавших руки на бедрах, не требовалось никакого ножа, достаточно было лишь с силой дернуть, и узлы распустились, Луна никогда их особо не проверял, №2 сразу же сорвал повязку с глаз и, держа ее, подошел поближе к Луне. Из всего лица он видел только рот, рот был во все

лицо, лицо было лишь ртом с большими губами, чуть приоткрытыми, удивленными, одутловатыми из-за кровавого цвета трещинок, было видно, что они дышат, что от счастливых видений во сне по краям выступило чуть-чуть молока. №2 едва не уснул, все глядя на эти губы, они все росли, ширились, наполняя собой весь подвал, и он не знал, что предпринять, что пожелать, что с ними сделать, поцеловать или разбить в лепешку, выцарапать, теперь уже самому, на них позорную кличку, отрезать их или омыть сильной струей мочи, которая, казалось, вот-вот разорвет его изнутри, он лишь положил на рот свою глазную повязку и подождал, пока она слегка шевельнется при выдохе. Это созерцание заставило его позабыть о голоде, о том, что он голый, а сейчас зима, оно будто его насытило, он обернулся, пошел наподдать нескольким мешкам, насельники которых закричать не могли, и с легкостью, которая его даже ужаснула, выбрался из подвала. По пути он сорвал, окончательно разделив ее на две половины, джутовую ткань, служившую ему домом, и накрылся ею, будто плащом, спрятавшим и тонзуру, и клеймо на лбу, укрывшим и защитившим плечи, он завязал ткань на животе, бедра и ноги остались голыми, правда, он надел еще башмаки Луны. Наверное, они были волшебными, поскольку ему казалось, что он идет семимильными шагами. Город потонул во тьме и тумане снов, караульные тоже дремали. №2 ничего больше с собой не взял, не прихватил даже окорока из тех, что мариновались в подвале, их можно было легко украсть, руки его были свободны и ловки, кажется, с их помощью ему было легче преодолевать ступени бесконечных лестниц, по которым

он карабкался, ровно дыша, чтобы выбраться из города, взобравшись на один из холмов, ниже располагался лес, где его столько тренировали и куда он мог бы отыскать дорогу, закрыв глаза. Он пересек турецкий квартал и попал на непривычно пустынную восьмиугольную площадь, окруженную незатейливыми жилищами, где росло лишь одно хиленькое деревце. На табличке было указано, что более века на этом месте стояла городская тюрьма, что потом из-за пагубных для здоровья условий ее отсюда перенесли и теперь город ждет вкладчиков, с помощью которых здесь будут разбиты площадка для игр, сад. Можно было подумать, что прикатили огромный кран, подцепили эту тюрьму и вместе со всеми заключенными перетащили подальше за пределы города, чтобы никто из жителей из-за нее больше не волновался. Однако №2 не требовалось читать табличку, и он не жалел, что не может этого сделать, поскольку внезапно пронесшиеся видения, запахи раскрыли загадку площади, которая опустела, чтобы стоявшие на ней когда-то стены, башни и сторожевые вышки вновь собрались воедино где-то еще. №2 узнал скользившие по площади тени изгнанников, будто бы возвращавшихся в прежние камеры, узнал такие же, как у него, бритые синие головы, различил в поднятом ими пыльном облаке запахи пота, грязи и жидкого мыла, которые ощущал в парильне. Он вдруг почувствовал, что ему холодно, он не хотел присоединяться к теням, ластиться к ним, становиться их любимчиком, чтобы они защищали его от подонков, которые скоро пустятся за ним в погоню. Он подумал, что однажды сам построит тюрьму, став сразу основателем, правителем и, быть может, даже заключенным, такая

судьба уже не казалась ему незавидной. После дрессировки он утратил воспоминания о прежней жизни. Не помнил ни родительских лиц, ни стен комнатки, где прошли его первые годы. Он бежал в сторону леса.

Пират тихонечко взял повязку с лица Луны и, скомкав, попытался осторожно затолкать меж раскрытых губ. Растянувшийся в гамаке вздрогнул, открыл глаза и выплюнул комок ткани, рядом стоял Пират, он улыбался, в ухе у него посверкивало золотое кольцо, хотя было не ясно, что за луч света мог его осветить и откуда он в таком сумраке взялся: «Вытрись, ты весь в слюне», – сказал Пират, протягивая ему какую-то тряпку. Луна сразу же понял: что-то не так, Пират никогда не был таким заботливым и спокойным. Он даже погладил его по лбу, напевая колыбельную, затем очень мягко сообщил: «№2 сбежал, неизвестно, как это произошло и кто ему помогал, сбежал он один, никаких следов не оставил, давай, надевай башмаки». Луна уже понял, что башмаки тоже исчезли, он перевернулся на бок и, схватив одежду, соскочил с гамака. – «Ты найдешь ему замену, а ночью устроим облаву, наверное, он укрылся в лесу и, выбившись из сил, уснул там, но мы можем его не найти, а отряд нужно как можно быстрее пополнить, ты уже давно ничего такого не делал, так что возьми фургон и жди нас не позже шести, чтобы помочь подготовить ловушки и сети». Оказавшись за рулем грузовика, Луна подумал было сбежать и никогда больше не возвращаться, воспользовавшись тем, что пока светло, отыскать №2 в лесу до того, как его убьют; представлял, как

они вдвоем живут дикарями, едят корни, прячутся в деревьях и спариваются в вересковых зарослях, представлял, что №2 растет, а он сам придумает всевозможные ухищрения, чтобы замедлить рост члена в то время, как хрупкое тело вытягивается, он станет растирать член толченым льдом, смастерит из навоза футляры, которые, высыхая, будут его сжимать, а, может, он просто-напросто прибегнет к воображению и, беря в рот длинный разбухающий член, начнет представлять, что на самом деле тот совсем маленький? Луна ехал, не видя мелькавших перед ним полупустых улиц, он машинально вернулся к детскому саду, где уже дважды ловил детей. Он знал, что должен действовать, подобно волку в овчарне, должен маскироваться, решительным ударом разбивая любые встающие на пути препятствия, и утащить с собой добычу, неважно какую именно, первую, попавшуюся ему под руку, взвалив на плечо сумку и сразу же бросившись наутек. Но, когда он уже собрался выйти из грузовика, припарковавшись подальше от детского сада, то почувствовал прилив необъяснимой, удушающей тошноты. Чтобы отлегло, он достал из кармана заботливо припрятанную повязку, принялся ее нюхать, потом жевать, слезы полились у него в горле и словно бы смыли блевотину. Он снова завел машину: всегда можно отправиться в школу, это сложнее, но там ему хотя бы не требовалось входить в здание, рискуя себя обнаружить; он уже много раз стучался с подельниками в это учреждение и знал, что архитекторам приплачивали, чтобы те возводили дополнительные ограды и помещения для охраны. Он припарковался на краю дороги, что ведет к классам: прямо на него бежал светло-

волосый мальчик, больше никого вокруг не было. Луна взялся за ручку дверцы, готовый выскочить, но мальчик его заметил и улыбнулся, и неизвестно, по какой такой причине, в этот момент, без какого бы то ни было вмешательства темных сил, по ногам будто прошлась коса и внизу стало жечь, будто он по колено стоял в муравейнике. Ребенок исчез. И можно было снова воспользоваться повязкой, пропитанной слезами, она успела уже подсохнуть. Но страх был сильнее печали. Луна подумал отправиться в обычный сад и вырвать там какого-нибудь малыша прямо из рук мамаши, уложив, если потребуется, родительницу на месте, швырнув ее на кучу песка и набив ей рот гравием, чтобы уже заткнулась и не орала, но ему представилась растущая там бирючина, над изгородью кружил целый вихрь пчел и, несмотря на то, что была зима, их жужжание и сладкий запах белых цветов, с которых пчелы таскали мед, наполнили его изнутри, словно в него засунули какие-то шланги, из которых все это хлынуло в нос, в уши, шелест лепестков и легких крылышек превратился в кошмарный писк тетки, которой кромсали живот, чтобы вырвать оттуда едва сформировавшийся зародыш. Он резко прибавил газу и помчался на самый высокий городской холм, чтоб оглядеть лес, раскинувшийся в низине, где вился еще туман, в высоте редевший, должно быть, где-то там затаился №2, вырывший небольшую ямку, чтобы как-то устроиться, породнившись с кротами, семимильные башмаки его оберегали, сделав непобедимым. «Однажды, – подумал Луна, – мы вернемся в город, я буду выдавать тебя за своего сына, мы принарядимся и отправимся в оперу!»

«Ну и ладно, ничего страшного, – сказал Пират, – я знал, что ты вернешься ни с чем, у тебя в башке что-то сломалось, тебе надо как-то восстановиться, чтобы ты снова стал прежним ловцом, я отослал тебя лишь за тем, чтобы посмотреть, вернешься ли ты, ты вернулся и правильно сделал, значит, это я ошибся, сказав остальным, что облаву устроим на двоих сразу, отыщем тебя вместе с мальцом в лесу, а, видишь, я был неправ, Волк наплел мне всякого вздора. Но ночью мы тебя с собой не возьмем, тебе надо отдохнуть, ведь так? С тобой посидит Перо, у него есть неотложное дело». Пират выбрал себе в спутники Петрушку с Малюткой. Волк смастерил новый фонарь из того, что снял с крыши фургона, теперь его можно было взять с собой и нести в руках. В углу подвала у лестницы были свалены разнообразные ловушки, арканы, дубины, банки с клеем, обманки, мотыги, крюки, свистки и вентиляторы, разного рода заграждения и осветительные устройства. Четыре негодяя примерили накидки, расписанные листьями, и маски животных, в том числе какого-то нелепого кролика и совы, предназначавшихся для того, чтобы перепугать насмерть ребенка, когда нога его попадет в петлю или он провалится в специальную яму, или прилипнет к клею и не сможет больше бежать, когда они нагрянут со всех сторон, ухмыляясь и показывая сверкающие клыки. Пират разместил специальную палочку в каждой из шести ловушек, представлявших собой разверстую пасть, поддельное озеро, сделанное из раскрашенного зеркала, ненастоящую пещеру в скале, нарисованную кем-то, кто так и не смог войти внутрь, сундук, который открытым закапывали в землю, а внутри меж грибов и сказочного

нагромождения игрушек было спрятано полно бритвенных лезвий, украденную луну, которая, несмотря на плачевный вид, все еще немножко светилась, как в преисподней, когда же она мигала, – они ее как-то уже испробовали, – ребенок меж вспышек пускался в пляс, наконец, целую гору свежих, благоухающих малиновых и шоколадных пирожных, к которым крепилась невидимая леска, и множество пирогов, внутри которых были спрятаны тройные крючки. Приманки были разнообразны, и стоило поднести к этим тромплеям соломинку, как стальные челюсти моментально ее ломали. Пират наточил металлические наконечники на хлыстах. Ножи для разделки лежали в чехлах, прикрепленных к ремням, ягдташи были доверху набиты замороженным формалином, садки все проверены на тот случай, если потребуется все сделать быстро прямо на месте. Четверо негодяев тепло оделись, вывернув мех, чтобы тот прилегал к их коже, поскольку им нравились нежные прикосновения к телу в то время, как руки, затянутые в перчатки, осязать ничего не могли – это было бы совсем уж жутко – поскольку их могла обагрить девственная кровь.

Луна больше не знал, стоит ли ему пытаться снова бежать или же застыть на том опустевшем месте, где висел мешок №2, или начать топтать его, или вертеться там, словно вошь на гребенке, или же пожрать все мясные запасы, чтобы как-то отвлечься от голода, помрачающего рассудок. Он был среди пустыни: от наплыва видений рот у него раззявился, ему виделись кружащиеся вихрем, маленькие, брызжущие молоком хуи с жужжащи-

ми крылышками, они жалили прямо в глаза, и ни один из них не приближался ко рту, как будто рот пугал их, Луна пытался схватить их руками, но они каждый раз выскальзывали, он махал руками, лежа в гамаке. Он упал, у него началась лихорадка, из мешка где-то рядом послышался стон, тогда он потянулся рукой к башмаку, где обычно был спрятан нож, но ножа там не оказалось; он был босым. Он застонал сам, подошел к мешку, пощупал его, обхватил, зарылся в ткань мордой и сжал с такой силой, что чуть не сорвал с крюка. Ребенок больше не двигался и Луне казалось теперь, что он обнимает мертвеца, он пошел к другому мешку, толкнул его, стал раскачивать, размеренное движение несколько успокаивало, он схватил этот мешок и, словно качели, толкнул с еще пущей силой, от сдавленного смеха и движения воздуха весь ряд охватило какое-то нетерпение. Вскоре Луна уже бегал от одного из шести мешков к другому, раскачивая их, свернувшиеся в них тела ударялись друг о друга, Луна превратился в церковного звонаря. Будто волна, нетерпение малышей передалось и взрослым и, удовлетворяя его, Луна летал теперь от одного ряда к другому, трезвоня уже в тринадцать колоколов. Руки его выросли, превратились в два молота, голова гудела, превратившись в сосуд, полный хуев, плавающих во всех направлениях, словно множество головастиков. «Ты чего это тут творишь?» – спросил Перо, показавшийся на верхней ступеньке с отрезом черного крепа в руках. – «А сам-то ты что творишь, чего тут ножницами размахиваешь? Меня это раздражает!» – злобно ответил Луна. – «Я должен сшить костюм, – сказал Перо. – Пират дал мне так мало времени, что боюсь не успеть, ты не поможешь?

Надо только сделать примерку». – Луна обернулся, собираясь уже наброситься на Перо, но, как только взглянул на него, сразу смягчился, настолько у парня был кислый вид. – «Давай тогда поторапливайся», – проговорил Луна. Колокола продолжали стучать у него в висках, но он переоделся и протянул руки, чтобы закройщик отметил булавками требующуюся длину. – «Где-то так, – сказал Перо. – Для мерки, которую дал мне Пират, должно сгодиться. Тут вот маленько не сходится, но этого никто не заметит. Повернись-ка!»

«Вот бы такую сеть, чтобы весь лес накрыть!» – мечтал Пират. В сопровождении Малютки с Петрушкой он взобрался на возвышающийся над городом мыс, где прежде уже останавливались №2 и Луна, словно это был обязательный пункт, лес внизу казался отсюда не столь густым. Вначале следовало окинуть его взором, и лишь потом решать, углубиться в него или пойти стороной. «Но кто же захочет сплести нам сеть величиною с лес? – добавил Пират. – А что, если мальчишка укрылся в норе? Тогда надо пустить по подземному ходу газ, есть какой-нибудь заряд, чтобы положить у входа и выкурить его изнутри? Тогда потребуются затычки для остальных дырок. Волк, ты где?» – Волк остался в грузовике, охраняя с ружьем в руках лежавшее позади оборудование. – «Волк, ты меня слышишь? – завопил Пират. – Принеси мне ракету!» – Это была боевая ракета, которая, медленно падая, должна была ослеплять в ночи своим синим блеском. – «Что тут гадать, либо мы его окружаем, ползя в защитных костюмах, либо идем в открытое наступление, у меня

уже руки чешутся!» – произнес Пират и запалил ракету, которая со свистом взвилась в воздух так высоко, что все думали, она уже не взорвется. Едва показавшись, синяя звезда начала падать, словно повиснув на парашюте, она осветила лес, сияя меж зарослей и тропинок подобно огням в ночном клубе. Но это рентгеновское просвечивание длилось недолго: неожиданно грянул почти сразу прекратившийся ливень, и все погасло. Фургон уже ехал по лесу с включенным гироскопическим фонарем, выхватывая из темноты все закоулки; жабы прыгали врассыпную, под колеса попадали сони и барсуки, ослепленный ёж метнулся куда-то прочь. Всех, кого могли унести, они добивали, позади фургона тянулась сеть, счищавшая все подчистую вплоть до камней, с хищников сдирали шкуры, раздавленные моллюски и лягушки годились в суп. Пират притормозил на опушке у озера, поставив машину так, чтобы фонарь освещал всю темно-синюю гладь в мелкой ряби, он подозревал, что ребенок затаился в воде, сдерживает дыхание и вскоре вынырнет, отчаянно колотя и разбрызгивая воду, хватая ртом воздух, но показались лишь выпрыгивавшие в разные стороны серебристые рыбки. Петрушка подошел к самой воде: казалось, луч света, идя по поверхности, освещает и дно, где лежат вперемешку отяжелевшие трупы и обглоданные скелеты, среди пира гниющей плоти саркастически поблескивали полированные кости, озеро и его обитатели требовали свежего тела. Пират снял фонарь с крыши грузовика и понес в руке, другой рукой он сжимал дубину, которой рушил все на своем пути. «Хватит прятаться, выходи! – взревел Пират. – Мы тебя пощадим!» Но этому неистовству отвечала лишь

муть из ракушечной пыли, роившаяся в лучах света. Трое мужчин позади принялись натягивать между деревьев острую, словно лезвие, стальную проволоку на уровне детской шеи. Пират знал лес наизусть, но от ярости крутился юлой на месте. А ночь со временем истрачивалась; чем больше он ее проклинал, тем быстрее она отступала, завершая облаву. Они пересчитали, что лежало у них в сетях, и повытряхивали мешки: оттуда сыпались лишь консервные банки и недодавленные зверушки. «Помогите мне набить один из мешков глиной и листьями! – приказал Пират. – По форме и весу все это должно походить на лишившегося чувств пойманного мальца, давайте, потом я завяжу бечевкой». В лесу тем временем уже брезжил рассвет. – «Ебучий лес! – воскликнул Пират, пока остальные занимались своей скульптурой. – Раз ты мне противишься, я тебя подожгу!» Он запалил два факела и швырнул их в разные стороны, где были густые заросли.

Пират бросил неподвижный мешок к ногам Луны: «Он твой! Бери, он твой! А мы поглядим. Правда, ты сам ничего не увидишь. Ты сохранил его повязочку с номером? Я ж тебя знаю, ты все это собираешь. А черный тебе идет. Так ты даже красивее, чем обычно. Я так и сказал Перу, наряд этот тебе пойдет, забирай, дарю! Я решил, будем тебя сегодня чествовать, будем славить твою верность, твою бессонницу, твой выносливый рот, побалуем его хорошенько, попотчуем тебя. Парнишка твой сейчас без чувств, можно даже сказать, что мешок просто набили глиной да листьями, но ты не волнуйся, он очухается,

просто смотри на него, твой взгляд его укрепит и он очнется, он вымотался в своей ловушке, долго сопротивлялся, так что я должен был ему влепить как следует, но он проснется, разбуди его, всыпь хорошенько, дарю тебе еще хлыст, отметель его в наказание, пройдись ему по хребту и по заду, но прежде завяжи себе глаза, ты наверняка не забыл переложить повязку из вонючей своей одежки в карман прекрасного свадебного костюма, верно? Луна, отвечай!» – Голос Пирата стал назойливым, он смотрел на Луну так, словно старался его загипнотизировать, казалось, он сам вытаскивает повязку из кармана на расстоянии, не прикасаясь к костюму. – «Хочу, чтобы ты кое-что попробовал, посмотрим, угадаешь ли ты, это игра, в которой будут и призы, и штрафы». Пират дал Луне кнут и, пока Малютка, согласно полученному распоряжению, высвобождал из мешка одного из взрослых, разорвал веревку на мешке с поддельной ношей и толкнул глиняную массу на пол, чтобы перед мысленным взором Луны, стоявшего с завязанными глазами, возник образ исчезнувшего ребенка. Перо обмазал парня свежей грязью, которую они притащили с собою в бадье, и обсыпал дубовыми листьями, тут ему снова показалось, что он мастерит какой-то наряд, и он прошептал парню на ухо: «Эту одежду мы принесли из леса. Она послужит тебе броней, когда станут щекотать хлыстом!» Луна по-прежнему стоял, подняв голову, которая шла кругом от доносившихся отовсюду непонятных звуков, руки повисли вдоль тела, кнут был тяжелым, Пират привязал его к ладони ремнями, превратив как будто в нарост, в сросшийся с телом кусок арматуры, доходивший почти до плеч, душа покинула тело, он уже не чувствовал никакой

боли, кроме той, что причинял ему хлыст, она распространялась теперь по всему телу, приканчивая его; стегать он будет не ребенка, не того самого, своего ребенка, но давящее его чудовище, с которым нужно вступить в бой, чтобы не задохнуться. Пират потихоньку толкал перепачканного дрожащего ребенка к Луне, он взял его левую руку, чтобы тот провел по напрягшейся заднице, вымазанной в глине, и вдоль спины к голове. Луна никогда не прикасался к спине ребенка, но сразу же узнал этот легкий озноб. Он сказал себе, что с каждым ударом будет понемногу воссоединяться с ребенком, так в не сдвигаемой с места скале кроется родник, воды которого извечно стремятся к земле, он начал понемногу приходить в себя. Пират считал удары: с ребенком, лежащем на плахе, творилось невообразимое, он сгибался и выгибался, извивался, пыжился, вытягивался в струну, походил то на угольник, то на волну, казалось, от плоти летят ошметки в том месте, где прошелся кнут, оставив очередной синий след, на пятидесятом ударе ребенок потерял сознание, после сотого он испустил дух, душа у Луны ушла в пятки. «Остановись! – прокричал Пират. – Он отключился, но сейчас ты его осчастливишь, как ты умеешь делать, ведь правда? Подои его!» Пират отвязал хлыст от руки, которая, казалось, уже оторвана, проверил, как двигается кисть второй руки и вложил в нее хуй мертвого парня. «Давай, подрочи ему!» – приказал Пират. Пока Луна пытался доить покойника, Пират дрочил рядом, подставив стакан, он смотрел, как сотрясается тело, чтобы кончить в нужный момент. В руку Луны вытекло семя, но обман продолжался, ладонь жгло. «Хочешь попробовать, а? – спросил Пират. –

Но ты подожди, не облизывай, сейчас поднажмем вместе, чтобы вышли последние капельки, они самые вкусные». Пират раздвинул Луне челюсти и влил меж ними трухню из стакана, Луна сразу же выплюнул. «Что, подсунули тебе не тот товар? – осклабившись, спросил Пират. – Мерзавцы тебя разыграли, да? Мерзавцы у нас – люди воспитанные, тебе все возместят. Что ж, дадим тебе самое лакомое». Пират склонился над мертвым телом, лежащим в грязной кровавой жиже, отхватил тесаком член и рассек мошонку, чтобы вытащить яйца. Взяв маленький член, будто редкий плод, двумя пальцами и поднеся поближе к глазам, он принялся осторожно счищать с него кожу, затем ухватил Луну покрепче за волосы, чтобы тот раскрыл рот и одним махом заглотил скользкого окровавленного угря. Затем взял в руки два увитых жилками белых шарика: «Вот твоя награда! – воскликнул Пират. – Это тебе за твою бдительность и высочайшую сноровку при ловле!» Он сделал широкий надрез в шее трупа и пихнул Луну туда носом. В этот миг душа Луны на мгновение шевельнулась, и он с ужасом осознал, что, должно быть, судьба к нему благосклонна, раз он уткнулся в тело №2, оставшись живым в своем траурном одеянии, которое он видел, как шьют, не зная, для чего оно предназначено, но в то же время судьба эта безжалостна, поскольку разверстая шея, откуда текло наказующее смрадное месиво, заменила мальчишеский хуй, который он так любил.

Ряды их уменьшились. Негодяи должны были доставить Башке партию из семи детей до 15 числа, игры намечены на 17. У Пирата оставалась неделя, чтобы отыскать двух мальчишек, которые заменят №2 и того, что принесли в жертву вместо него, всего лишь неделя, чтобы украсть их, вырвать им зоб, постричь и поставить клеймо, выдрессировать, ожесточить и предоставить Малютке, чтобы он занялся их ногами и работал денно и нощно в течение этой недели, которая начала уже таять, они не могли больше отправиться в лес, чтобы устраивать там бега; у подножия редких деревьев, что уцелели после пожара, еще потрескивали угли, Малютка решил, что круглые небольшие прорези в мешках останутся теперь открытыми и спать он будет урывками прямо меж болтающихся ног, будет принимать снадобья, чтобы не упасть от усталости, будет тяжко трудиться, словно прикованный, будет есть, сидя под свисающими сверху ногами, те станут его тюремщиками, а он будет подставлять им спину, чтобы тренировать прямо на себе. Пират покинул логово в семь утра после того, как швырнул Луну в озеро, он колебался, не бросить ли его в пылающем лесу, но все же, думал он, с озером у них договор, оно уже столько раз скрывало в себе украденное, что он должен был заплатить очередную мясную дань водным глубинам, ведь озеро – плотоядное. На выполнение задачи Пират отвел одно утро, от помощи он отказался и имел неосторожность сказать, что, если вернется к полудню с пустыми руками, то откажется от своих полномочий и сложит оружие к ногам Волка. Четверо подонков ждали его в течение четырех часов: Перо чинил рваные мешки и рисовал в уме эскиз

костюма для экстренных случаев, который сгодится и для того, чтобы выполнять приказы, и для того, чтобы отправиться куда-то наружу; Малютка готовил смеси для мазей, проверял, насколько остры скребки и упруги подвесные устройства; пока Волк, заменявший Пирата, следил за тем, как накаливаются клейма, Петрушка проверял машинку для стрижки на собственном затылке и бритвы на собственных руках, шефа ведь надо брить. Пират отправился в зоопарк – мальчишки там постоянно болтаются, прежде он уже поймал здесь двух или трех на пути от вольеров с хищниками к инсектарию; дети становились рассеянными, глядя во все глаза на зверей, одни представляли себя волком, другие стрекозой; казалось, им ничто не грозит, ведь в зоопарке повсюду решетки. Пират совершил предварительный обход и затесался в группку, остановившуюся возле террариума с игуанами, он пробирался все глубже, ориентируясь по запаху, и редко случалось, чтобы чья-нибудь шевелюра или воротник его привлекали, пригодный для сражений ребенок должен отличаться по запаху, который обычно исходит от рыжих, а порою и от чернявых, Пират делал вид, что уронил сигарету или монету, и, присев на корточки, осторожно приподымал штанину, чтобы оценить икры. Он выбрал в группе красивого светловолосого ребенка, быть может, несколько щуплого, но Пирата приманил его злобный взгляд, он отважился слегка потереться о мальчика, чтобы взглянуть, как изогнется позвоночник в ответ на ласку, ребенок сразу же набрал полный рот слюны, чтобы как следует, обернувшись, харкнуть, немного присвистнув, плевался он славно, значит, мог и хорошенько

укусить. Пират подобрал ему пару: второй малец, темноволосый, улизнул от отца, чтобы, визжа, побегать возле островка с обезьянами, выглядел он придурковато, а способность идиотов придумывать что-нибудь неожиданное высоко ценилась в сражениях, однако, проходя мимо вольера с белыми медведями, он замер при виде двух близнецов на скамейке, они были поглощены созерцанием, явно при этом ни о каких животных не думая. Пират содрогнулся от нетерпения: он еще никогда не ловил и не дрессировал близнецов. Никакая прежняя тактика похищения тут не годилась. Неподалеку расхаживал из стороны в сторону охранник возле поросшего травой огромного крутого склона, державшего разъяренного медведя на расстоянии от неблагоразумного визитера. Решив не юлить, Пират подошел к близнецам и склонился меж ними над скамейкой ровно в том месте, где оба они могли внимать тихому и вкрадчивому шепоту, будоражащему воображение, мечте, что заставила их подняться и идти за Пиратом, как две сомнамбулы.

«Что касается этих мальчишек… – сказал Пират, представляя подельникам близнецов. – Им не надо резать миндалины, не надо делать татуировки и не надо даже их брить, они все равно ничего не скажут, достаточно сделать просто обычный рисунок на лбу и за губой, постригем их в последний момент, я сам пригляжу за этим. Малютка, из-за ног не переживай, я ими займусь. От тебя, Перо, требуется лишь сделать двухслойный кокон, висеть они будут вместе, для одного мешка это слишком тяжело, поэтому просто

продень один в другой». Все с грустью принялись убирать инструменты, они были слишком разочарованы, чтобы поздравить Пирата с такой поимкой. Отойдя в сторону, они наблюдали, как он снимает с близнецов одежду. Дети были похожи на кукол, поскольку почти не двигались, подонки думали, что Пират накачал их наркотиками, чтобы они шли, послушно держа его за руки. Близнецы выказывали то же странное послушание и тогда, когда держались за его плечи, приподнимая ноги, пока он снимал с них брюки и потом трусы, кое-где пожелтевшие и все в кружевах, словно из другого века; негодяи увидали два в точности схожих безволосых и белых тела, у одного справа, у другого слева красовалось по длинному шраму. Кожа с едва заметным оливковым оттенком слабо мерцала, но больше всего удивлял их взгляд, безучастный и при этом невероятно живой: казалось, они все время смотрят на что-то, не видимое для остальных, их словно бы отделяло от мира стекло, мешавшее им проявить себя и полнящееся отражений. Друг на друга они не обращали внимания: они никогда не поворачивались друг к другу, не переглядывались, за руки не держались. Соприкасались только их длинные вьющиеся шевелюры, тогда казалось, что они меж собой едины, что они образуют общую крону. Пирату не удалось их расчесать, когда он протирал плечи, прикосновение этих волос оказало на него гипнотическое воздействие, он сразу же отправился спать, поместив близнецов в большой мешок и подняв тот на крюк, чуть не сломав зубчатое колесико. На следующий день до бандитов дошло, что близнецы стали теперь для Пирата главной заботой, однако он старался это не показывать и о дрессировке не

думал, хотя сроки уже поджимали; бездеятельное наваждение казалось внезапной и пагубной ленью. Волк попытался сам заняться близнецами, но Пират злобствовал, стоило к ним только приблизиться, он находил особое удовольствие в том, что два близнеца, свернувшись, остаются по-прежнему в своем мешке, но неусыпно следил за ожесточающими практиками, которые должны были развивать и усиливать реакции у других подопечных: теперь в их тела втыкали тоненькие иглы, на концах которых помещался небольшой груз, таким образом место прокола было постоянно раздражено, в ноздри вставляли такой же небольшой буравчик, продевая следом широкие кольца, мешающие дышать, чтобы дыхание вырывалось из ртов с обилием пены, в члены вставляли стеклянные трубки, усмиряющие все движения, грозившие эти трубки внутри разбить, отрывали на ногах ногти, чтобы впрыснуть под них разъедающие вещества, и добросовестно морили всех голодом, чтобы слюна при плевках была совсем кислой, а укусы оказывались глубже обычного. Все насельники в мешках превратились в груды постоянно сокращающихся мускулов и, пока остальные дети беспрерывно страдали, подчиняясь неусыпным заботам подонков, светящиеся глаза близнецов, казалось, созерцали смену опереточных декораций.

Пират грезил неподалеку от близнецов, но, стоило ему от них чуть удалиться, он сразу же пускался всеми командовать. Перу сказал, что хватит придумывать фантастические костюмы, пора применять утонченные знания на деле и

сооружать ящики или какие-нибудь там бронированные клетки, которые заменят мешки для следующей партии, поскольку Луна со своими привычками и последовавший побег наглядно продемонстрировали: джутовая ткань ненадежна! Близнецы никогда не испытывали голода: Пират вызволил их из мешка и усадил за собственный стол, но они ничего не ели, более того, казалось, куски мяса и листья салата сами выскальзывали из рук, лишь стоило к ним прикоснуться, а вино и вода, которые Пират наливал перед ними в стаканы, будто сами переливались обратно в графины или же отступали в стаканах к стенкам, лишь бы только не касаться их губ. Казалось, происшествия с едой и питьем их вовсе не удивляли, они только улыбались, словно все это творилось лишь потому, что они просто рассеяны. С Пиратом они вели себя ровно так же: они смотрели на него, не видя, глядели бесцветными глазами, как бы не различая его, а Пират следил за ними взглядом, в котором читались одновременно и зачарованность, и дикий страх: их тела – почти прозрачные – словно передавали ему заряд губительной энергии, когда он смотрел на них, возникало ощущение, что собственное его тело меняется, на нем появляется какой-то величественный и гнетущий нарост – то ли рог меж бровей, то ли горб за плечами. Голые близнецы сидели напротив него, и он был не в силах обжираться, как прежде. Остальные, которых он прогнал из-за своего стола, собрались под предводительством Волка, обсуждая, что новая поимка повлияла на весь уклад, установленный Пиратом, и скоро ему будет пора виниться перед общим судом. Пират вырезал из кусочка черного фетра, найденного в чемодане Пера, две цифры –

«2» и «5» – чтобы использовать их как трафареты, разместив у близнецов сначала на лбу, а потом под нижней губой, предварительно пропитав щадящими осьминожьими чернилами, которые использовали при изготовлении соусов. Ими же он раскрасил близнецам веки, чтобы было совсем незаметно, когда он наложит повязки из легчайшей ткани, что материал на самом деле просвечивает. Постричь он их решился в последний момент: фургон с пятью разгоряченными детьми уже стоял у дверей, а он вдруг взялся за ножницы. Но железо ничего не могло поделать с шелковистой массой кудрей: ножницы в них потерялись, словно иголка в стогу сена, две тонкие пластины были словно нежные пальчики девы, пробирающейся в колючих зарослях, рука вдруг обмякла, и Пират ощутил прилив необъяснимой тошноты: пытаясь распутывать волосы, он продвигался прядь за прядью все глубже, словно потроша огромную тушу или прокладывая путь в огромном облаке, и, когда в конце концов стала видна отливающая синевой кожа, он обнаружил на головах симметрично расположенные, но зеркально отражающие друг друга новые шрамы, на этот раз закругленные, но явно напоминающие уже виденные рубцы на боках.

Голодные дети на привязи в фургоне колотили друг друга, они пересекали города и деревни и избивали сосед соседа, когда машина очередной раз поворачивала или прибавляла скорость, внутри чувствовались порой незнакомые запахи, и детям с завязанными глазами виделись тогда пруды и небоскребы, дети падали и взбирались

друг по другу, щипали остальных за щеки и задницы, боялись, что везут их на бойню, надеялись, что попадется на пути шериф, который их вызволит, ждали, когда пули разорвут автомобильные шины, а арканы удавят подонков, они представляли, что за ними следом несутся дикие звери, они обольщались, питали себя иллюзиями, мазали головы слюной, боясь солнечного удара, им чудилось, что их бросят в пустыне, что вот идут они на четвереньках, пытаясь отыскать хоть что-нибудь, что можно укусить или пососать, они дрались и впивались друг в друга, царапались и лизали чужую кровь, карабкались, строя Вавилонскую башню из тел, чтобы снести верх у грузовика, они сыпали проклятиями, представляли, что вся поездка устроена, чтобы еще раз испытать их способность на выживание – вот, почему, когда они уезжали, их было семь, а потом чаще всего подонки должны были вытаскивать из машины одного из них бездыханным, расчлененным, раздавленным. Близнецам среди этого макабрического бедлама обороняться не требовалось, – остальные калечили, потрошили друг друга, не обращая на братьев никакого внимания, словно их там и не было, – так что ни клыки, ни затрещины близнецов не касались, они с легкостью восседали в задней части фургона, словно в просторном кресле-качалке.

«Что это за шрамы такие? – спросил Башка Пирата, осматривая первого близнеца. – Он уже бегал?» Башка детей не любил, относясь к ним, как к товару, однако сам никогда к ним не прикасался, для этого был специальный человек, изме-

рявший их вес и проверявший, насколько развиты мускулы ног. Ему самому нравилось прикасаться только к деньгам и иногда к некоторым женщинам, – к собственной жене его уже не тянуло, – и крутить на жирных пальцах кольца с десятью драгоценными камнями, каждый больше другого, все разных цветов и разной прозрачности; он приказал сделать сейф в виде кресла, чтобы восседать непосредственно на своих богатствах, и ничто не могло заставить его сойти с места, он рассеянно наблюдал за сражениями и волнением публики на экранах, составленных у него в бюро, говорили, он даже спит в этом кресле, а женщин, которых он особо отметил вниманием, отправляли к нему по две или по три, и они кружили возле кресла, вступая в отношения, о которых потом ни одна не жалела. Он раз и навсегда установил счетный стол прямо над пузом, и никогда больше увесистые ножки этой громады не опускались на землю; если его охватывал гнев, то закладные и расписки так и летали у него под руками; полнейший беспорядок с легкостью возникал вокруг этой жирной туши. Тогда всем надо было выйти из комнаты, полностью очистив помещение, выключить экраны и лампы и оставить Башку одного во мраке его всемогущества, с мокрым полотенцем на лбу. Тренеры массировали этому сфинксу постоянно ноющие плечи. Пират договаривался с ним о ценах, зависевших от того, насколько дети крепки и какие у них мордашки; Башка предпочитал детей пострашнее, но Пират напоминал ему, что плативших за сражения зрители обычно придерживаются иного мнения, Башка настаивал: пусть будет лучше один красавец меж шести невзрачных мальчиков, это подстегивает тех, кто

заключает пари и делает ставки. Башка воспитал Пирата, вначале он нанял его заменять перепачканный песок на арене, а потом дал денег на покупку подвала и грузовика. Таким образом, у Башки был собственный поставщик и сам он оказывался владельцем сераля, избегая спекуляций и шантажа различных сорвиголов, которые, отказывая в поставке, требовали большей оплаты; среди последних Пират нанял Малютку, затем Луну, работавших лишь на себя. Башка не сразу заметил поразительное сходство двух братьев, Пират нарочно расположил их в цепочке друг от друга подальше: слуга Башки взвешивал на руке яйца парней – это был особый деликатес, который все жаждали отведать после сражения, парням связывали руки, затем вставляли в рот воронку и обильно кормили молокой, после чего рты заклеивали, так их мошонки оказывались потом переполнены. Башка взорвался: «Это еще что такое?! Это же близнецы! Ты сдурел! Две одинаковые башки на одном сражении, да люди же обалдеют, поверят еще, что один из них взял и воскрес, а все, касающееся религии, для нас не желательно, тебе это прекрасно известно, к тому же они смазливые, а это к зверствам не побуждает, давай, сделай же что-нибудь: одного следует исключить, какого – выбирай сам, мне плевать, а другого оставь в запасе». Пират знал, что на этот раз в машине уцелели все семь мальчиков, одного слегка покалечили, но это может сыграть им на руку, когда на арене появятся двое других, более озлобленных, возникнет как будто пауза, а для зрелища оно как раз хорошо. Башка почувствовал, что Пират не решается разделить близнецов, словно знает какую-то тайну или чья-то железная хватка

держит его, чтобы этому помешать. Он подходил то к одному близнецу, то к другому, оглядывал их, отходил назад и смотрел издали, щуря глаза, но каждый раз, когда уже готов был решиться, за полупрозрачной повязкой вдруг мерцал наводящий на него ужас голубой взгляд, сообщавший, что выбор его станет фатальным. Башке надоело, он открыл ящик стола и достал флакон с изображением черепа, вытащил кожаную пробку, обмотанную паклей, осторожно ее намочил, чтобы протянуть Пирату: «Давай-ка, умой одного из них, того, что грязнее, вот этого». Башка понял, он должен сам наугад выбрать, чтобы заставить Пирата: он сделал условный знак прислужнику, и тот навел на Пирата пушку. Словно сомнамбула, Пират поднес тампон к лицу указанного близнеца, который теперь не сводил с него взгляда за просвечивающей повязкой: Пират прикоснулся к губам, – напрасно он гневался с того момента, как Башка намочил тампон, – он лишь добавил им блеска; почувствовав облегчение, Пират поднял ком пакли повыше и протер им щеки, которые, казалось, сразу же заблестели, словно их смазали косметическим кремом, Пират подумал, что нажимает не сильно, поэтому кислота и щадит кожу, и он повернулся спиной к Башке, пряча за собой ребенка и выигрывая какую-то ничтожную паузу, прежде чем его малодушие станет заметно. Внезапно слуга Башки вскричал от ужаса: лицо близнеца, которого хозяин оставил без внимания, покраснело и появился легкий дымок, истерзанная плоть на носу отслаивалась, слышалось шипение, кожа до самой шеи спадала струпьями, повисала вокруг глаз бахромой, почти обнажая кости. Пират, обернувшись на крик, сразу же понял, что

происходит, и бросил тампон: лицо, которого он только что касался, оставалось неповрежденным, однако оно тоже теперь распадалось при виде разъеденного своего двойника. Близнецы оставались едины даже в своем несходстве. Красота исчезла в одно мгновение. «Вот теперь хорошо! – сказал Башка. – Так они оба могут принять участие в состязании, никто их не распознает». Пират удалился подавленный, оставив Волка разбираться со счетами. Выйдя с арены, он прошел мимо теснившейся возле касс обычной толпы и – он, никогда не желавший смотреть состязание с высоты трибун, предоставляя детей, которых дрессировал, судьбе, – занял место в очереди и опустил голову, и весь сморщился, и заговорил приукрашенным тоном, когда подошел к кассирше, знавшей его в лицо.

Детей отвели в подземный зал со сводчатым потолком, где было полно пустых клеток, в противоположной стороне начинался коридор, в конце которого виднелась подъемная решетка. В тесных клетках имелись изогнутые ворсистые валики, придерживавшие плечи так, чтобы голова заключенного торчала снаружи, от них исходил медово-приторный запах тухлятины. Заперев детей в клетках, их обрызгивали водой из шланга, не снимая повязок, которые на висках уже порядком подгнили. Дети томились, покачиваясь из стороны в сторону, они настолько изголодались, что порою из горла вырывался яростный крик, переходивший со временем в уже не прекращающийся вой. Но его перекрывал громкий шум, проникавший через вентиляционное окошко. Детей продол-

жали поливать, чуть ли не грозя затопить водой, чтобы они замолкли, и на стоны не обращали внимания. Руки по-прежнему оставались связанными, и в клетке, где скрученное тело уже почти ничего не чувствовало, оставался свободным лишь рот, порой удавалось высвободить ногу или двинуть коленом, тогда, прикасаясь к проржавевшим перекладинам кожей, они пробовали распознать, что именно процарапали там ногтями прежние пленники, никто не выводил слов «свобода» или «смерть», никто не писал «люблю» или «ненавижу», никто не оставлял своих имен, там были слова непредсказуемые и, по всей видимости, бессмысленные, обозначавшие не какое-нибудь понятие, а, к примеру, цвет, никто не процарапывал слов «я надеюсь», вместо этого выводили «желтый», никто не выскабливал «месть», вместо него значилось «шляпа». Были моменты, когда почти парализованные пальцы или распаленное плечо, пытаясь найти другую опору, натыкались на совершенные линии цифры, относившейся, казалось, к самой клетке, бывшей ее инвентарным номером или каким-нибудь кодом, и цифра эта дьявольским образом совпадала с той, что была выведена на лбу и губе. Тогда они хотели уничтожить подобное грозное сходство и терли эти места, надеясь, что одна цифра сотрет другую и они смогут выйти из клетки, утратив всякую идентичность, надеясь, что, лишившись номера, клетка в растерянности сама их отпустит. Доносящийся снаружи гул все нарастал, подобно бушующему приливу, прибой задавал ритм движениям, пока они силились стереть с перекладин цифры, наполняя рты кровью и ржавчиной, пуская заразу в раны на лбах. Подонки их бросили, не попро-

щавшись, даже не подойдя к ним после того, как получили причитавшиеся деньги; единственной заботой для негодяев было наладить с детьми контакт, чтобы как следует их выдрессировать, соразмерив общий вес тел и натренированность ножных мышц, а потом выставить все это в выгодном свете и получить максимальную прибыль. Теперь же они решили передохну́ть перед тем, как займутся поимкой для очередной партии, малыши остались без присмотра в подвале, они накормили их и напоили наркотиками, чтобы те двое суток проспали. Подонки спускали бо́льшую часть денег, полученных из сальных рук Башки, во время празднеств по случаю состязания; хотя толпы были везде, они старались уйти в городе как можно дальше от шумной арены. Почти все лавки превратилась в таверны. Пока все готовились к празднеству, Петрушка, Малютка и Перо во главе с Волком, бороздя улицы, разыскивали Пирата и хлестали на каждом привале худое винище.

Получив билет на завтрашнее состязание, Пират долго бежал. Устроившись позже в городском саду возле эстрады, он разглядел неподалеку уставившегося на него человека в меховой шапке, с водянистым взглядом и улыбкой, приводящей в отчаяние, и узнал в нем Луну. Десяти дней не прошло с тех пор, как он пожертвовал одним из свинцовых шлемов, дабы как следует утяжелить мешок, он сам запер замок, подвешенный к железному хомуту на шее, словно стремясь сохранить голову в неприкосновенности, оберегая ее целомудрие и ограждая от раболепства, теперь он припоминает, – должно быть, он совершил ошиб-

ку, он машинально протянул ключ Волку, и с тех пор они о том больше не говорили, так что мешок, который он спихнул в озеро, мог быть набит таким же хламом, что был в чехле, брошенном с таким удовольствием к ногам перепуганного Луны; он в точности помнит, что сам завязал мешок и на какое-то время ушел из подвала, потом он видел, как мешок грузят в фургон, но зачем же он выходил? Может, Волк придумал какой-нибудь повод, чтобы на несколько минут от него избавиться? Теперь ему кажется, что он ушел из подвала, чтобы взять что-то в фургоне, но времени было слишком мало, чтобы вытащить отяжелевшее от беспамятства тело из мешка и заменить чем-то поддельным, к тому же, сквозь черное одеяние, которое сшил Перо, во многих местах проступили липкие пурпурные пятна, когда мешок выгружали, это могло быть только кровью Луны и не чем иным, пройдохи не могли бы додуматься подделать и это. Когда он бросил мешок на дно озера, ему показалось, он видит, как оттуда поднимаются и лопаются на поверхности пузыри, как кривыми путями стремится вверх воздух, пузыри были большие и совсем маленькие, дыхание прерывалось, прежде чем исчезнуть совсем, обозначая ему, что жизнь истаивает, уходит из тела; то было верным знаком, скорбным подтверждением, которое не могло обмануть. События бесспорные и события вероятные стирались в памяти одно за другим, в то время как ноги уже не просто дергались, как бывало обычно, теперь их била такая дрожь, словно они превратились в две барабанные палочки, и дрожь эта питала его смятение. И вдруг ноги перестали трястись; внезапно, перепугавшись до смерти, он осознал очевидное: если Луна вернулся, то

для того, чтобы совратить близнецов, этой ночью Луна будет кружить возле клеток, словно собака, будет тявкать, просовывая морду меж прутьев, чтобы они выставили ему хуи, будет скулить и гавкать, и рыть темноту лапами, до тех пор, пока они не захотят поиметь его в рот, представив это, он почувствовал такой ужас, что пришлось даже отвернуться. И все же, не следовало бежать прочь от Луны или его двойника, наоборот, надо идти следом, у него с собой есть ножи, спрятанные под одеждой на руках и ногах, он прикончит Луну во второй раз. Ошалев, он кинулся к прохожим, готовившимся к празднеству и несшим ящики со свечами, тополиные ветви, он останавливал их, спрашивая, не видели ли они Луну, описывал им его шапку, как у Дэви Крокетта, постыдный и гнусный рот присоской, напоминавший пасть сбежавшего из цирка опасного хищника. Сжалившаяся над ним девушка посоветовала ему не болтаться в цыганском квартале, поскольку поговаривали, что заплутавших здесь белых людей обкрадывали до нитки.

Пират поддался движению кружившей толпы, вынесшей его на площадь, где он рухнул среди прочих под деревом, празднество позволяло людям спать прямо на улицах, словно вокруг один большой дортуар, он провалился в сон, ни на что не обращая внимания, но, засыпая, неосознанно перевернулся на живот, чтобы его невозможно было узнать. Когда он проснулся, спавшие рядом уже исчезли; под большим деревом, где у него подкосились ноги, по-прежнему была тень, и пробудился он не от солнечного света, а от звуков

духового оркестра, вытянувшегося извилистой вереницей и уже окружившего площадь, куда следом сходились подвыпившие гуляки. Пират почувствовал себя одиноко, он замерз, он подошел к одной из людских групп и забрался в толпу так глубоко, что стало невозможно из нее выбраться, пока та немного не поредеет, пока не захватит ее какое-нибудь новое движение и не распадется на части масса, намагниченная несколькими людьми в центре, еще более эксцентричными, разноперыми, буйными. Он повторял движения танцоров, но безрадостно, это не требовало особых усилий, получалось у него быстро, и он не опасался о чем-нибудь позабыть, сбившись на свой обычный надменный лад, и не выкрикивал никаких ругательств, которые могли бы в нем выдать лжеца, человека на самом деле печального, затесавшегося в толпу веселящихся, чтоб заразить их своею тоской. Он был один трезвый: стаканчик за стаканчиком, каждый потягивал смолистое вино, начиная с семи утра, зрители состязания должны были опрокинуть их штук сто, чтобы, шатаясь, добраться до арены и вынести то зрелище, которое будет затуманено светофильтром их опьянения, все происходящее оно окружает опасным ореолом бессознательного, нереального, тогда острые мечи становятся нежными, кровь превращается в нечто, похожее на смех, а красное солнце заката, в лучах которого все происходит, делает мечты реальными. Закон игр гласил, что на следующий день все должны проснуться, полностью позабыв о творившемся накануне, что никто не должен об этом говорить или вспоминать, если же кто-нибудь решит свидетельствовать на письме, то рассказ этого человека станет ему приговором,

и целое множество лиц претерпело большие беды, предложив однажды, согласно своим убеждениям или же испытывая сочувствие, упразднить эти игры. Пират решил воздерживаться от выпивки до самого вечера, оставаться в ясном сознании при виде зрелища, если хочет принять в нем участие, он говорил себе, что понадобится близнецам, а опьянение может лишить его сил. На трибуне он выбрал место, расположенное достаточно высоко и в тени, чтобы его не могли узнать ни дети, ни работавшие на арене сорванцы, с которыми он приятельствовал, – это были напрасные хлопоты, если учесть, какие здесь толпы, – в то же время место располагалась неподалеку от выхода и в случае надобности можно было быстро что-нибудь предпринять. Около четырех часов, когда жара достигла апогея, он уже смешался с толпой в одном из проходов, ведущих к арене. Он позабыл о навязчивой идее, что вновь где-нибудь встретит Луну, а если б вспомнил об этом, сказал бы себе, что просто вчера разнервничался, да солнце слишком яро палило. На подступах к арене на капотах машин сидели голые, перепачканные, малорослые цыгане, они знали, что в конце концов жалобные взгляды гноящихся глаз все же подействуют и их пустят за ограду к трибунам, они не попрошайничали, не присматривались к сумкам и карманам, набитым деньгами, они были невероятно терпеливыми, эти грациозные, перепачканные в пыли карлики служили затравкой для зрителей, они тоже хотели стать звездами, чего бы это ни стоило, но еще не решили, какой именно профессией хотят овладеть: быть на арене палачом или жертвой. Перекупщики обмахивались билетами, словно то были веера, они затоварились таким

количеством скверных мест, – превращавшихся в настоящее золото, когда они несли всякую чушь беззубыми ртами, и слова их тоже были на вес золота, – что приходилось цеплять эти билеты бельевыми прищепками к ремням и шляпам; словно лотерейные ларьки, зрители с головы до ног были увешаны синими, красными бумажными бабочками. Старухи восседали, точно королевы, на горах подушек; те, которые устраивались

лучше остальных, мигом лишались трона. И везде чем-нибудь торговали – во всех углах, возле всех туалетов – порнографическими календарями, на которых непристойным образом изображались благородные участники состязаний; сладостями в виде хуев и запрещенной выпивкой, от которой драло десны и башка просто отваливалась, поговаривали, что гнали это бухло бандиты, настаивая его не на фруктах, а на металлах и наструганных гениталиях покойников. Пират занял место в тридцать втором ряду северной трибуны на камне с номером, помеченном красной краской, который значился и в его билете, – 327, – с одной стороны рядом сидела обмахивавшаяся веером женщина, с другой стороны – тучный мужчина, прихвативший с собой в ведерке со льдом бутылку шампанского. На трибунах народа было еще не много, на арену особенно не смотрели, поглощали жратву, хлестали остававшееся пойло, таращились в бинокли на противоположные ряды. Когда действие в условленный час началось, арена была поделена ровно на две половины – тенистую и залитую солнцем. Те, кто сидел на жаре, освистывали тех, что заняли места попрохладнее, стоили они дико дорого и пили здесь более изысканные напитки, рассеянно поглядывали в разукрашен-

ные программки, презрительно ими обмахиваясь в тени пологов драгоценной ткани. Веерами они прикрывали лица, так как паскуды с солнечной стороны старались осыпать их плевками, которые на лету по жаре сразу же испарялись, камнями и гнилыми фруктами. А разделительная линия во время боя медленно ползла по арене: тень потихоньку надвигалась на зевак, которые вместо вееров притащили бутыли с водой, была меж ними банда отщепенцев, одетых в черное посреди буйной массы в белом, повернувшихся к арене спиной и игравших в карты или просто болтающих. Линия понемногу перемещалась, и поведение публики менялось. Теперь всем хотелось сидеть на солнце, у бабенок и увальней, плюхнувшихся было на жаркие места своими потными жопами, появлялись непривычные деликатные жесты, их трясло от приступов утонченности, они осваивали новые манеры рафинированной утомленности и высокоморального отвращения, которые постепенно охватывали самую затененную часть трибун. Свет угасал, словно перепуганный тем, что пришлось выставлять напоказ, разграничительная линия изгибалась, повторяя теперь очертания публики, лишь казавшейся кроткой и ласковой.

Ребенок находится еще в клетке, когда повязка вдруг с глаз спадает, никто ее не развязывал, не прикасался к ней пальцами, к повязке была прикреплена невидимая нить, за которую вроде как никто специально не дергал, повязка соскользнула как бы сама собой, зная, когда это нужно сделать. Ткань исчезает, устремившись

наружу меж прутьев. В то же самое время что-то под ребенком вздрагивает и устремляется вниз, словно это люк или тобогган, – он скатывается по какой-то наклонной плоскости, нажав перед этим на что-то рукой, затем безболезненно падает. Ребенок встает, увенчанный короной спутавшихся волос, мышцы у него затекли, он ничего не видит. Тело слишком болит, чтобы он сразу же мог пойти; веки, склеенные слезами и гноем, не в силах раскрыться. Он валится вновь на землю, двигается на ощупь. В воздухе что-то перемещается, управляемое теми же тросами, что разомкнули тиски, и приходит ребенку на помощь: тонкое лезвие разъединяет веки, проворный серпик счищает застывшую слизь, белки вращаются, привыкая к движению, за желтоватыми наплывами появляются радужки, ряды ресниц похожи на накрашенные тушью подрубленные края материи, на лице вырисовывается голубой треугольник: похоже на кошачью мордочку. Вокруг ребенка густое черное облако, где-то вдали мерцает маленькая белая пробоина, но глаза, исстрадавшиеся, изболевшиеся за долгие годы бездействия, воспринимают вещи достаточно противоречивые: ребенок барахтается, съежившись, в слепящей массе, едва различая в другой стороне желанное, укромное место, темную отдушину, куда ему сейчас хочется заползти. Затем вялое мерцание вдали, впитывающее его движения, потихоньку расслаивается, появляется неопределенная реакция или воспоминание, пытающееся все упорядочить, окрасить заново, распылив вокруг черную темень. Ширившаяся вдали безмолвная гипнотизирующая пробоина обращается дневным светом, становится гулким вихрем подлинной жути, ребе-

нок шарахается, спиной приклеиваясь к холодной и влажной перегородке. Вокруг кто-то топчется: ребенок хочет поднять голову, ему кажется, что различаемое им не имеет определенной формы, это вроде как крутящиеся шары, которые при столкновении с ним превращаются в кубы, от них смердит, они отделяются от остального пространства, вырисовываются какие-то углы, одни темнее, другие светлее, постепенно они вызывают в памяти образы предметов, о которых он позабыл, он понимает, что у кого-то плечи могут быть шире, чем у него. Одна из этих колеблющихся масс вдруг обретает точные очертания и хватает его рот, чтобы натереть десны крапивой и мятой. Другая масса оседает и водит чем-то шершавым, колючим по члену, пытаясь его пробудить. Ему выдыхают в нос спиртные пары, от которых щеки вздуваются, словно изо рта сейчас хлынет огонь, его хлещут по ногам, проводят по хребту штырем, к которому подключен ток, зажигают под задом жаровню, чтобы он взвился ракетой. Подобно болиду, он чуть было не врезается в подъемную решетку с шипами, но в последний момент, когда разгоряченная плоть совсем близко, та уступает и поднимается, будто занавес. Возбуждение в тишине немного стихает.

Ребенок по-прежнему стремится к грохочущему сиянию. Но, как только он покидает тенистый свод, как только ступает по обжигающему песку, на него обрушивается волна яркого света, сбивая его с ног и унося в слепящий вихрь, ему хочется собственными руками выдавить себе глаза, которые, оказавшись на свету, сами собой закатились,

пытаясь укрыться как можно глубже в переплетении нервов на дне глазной впадины, и все же он видит пестрящую оттенками чашу арены, переполненную, колышущуюся, а в центре нее – он сам, песчинка, которой грозит опасность, он тонет в свете и, как только касается красноватого дна, куда его так влекло, пытается остановить удушающий спазм в животе, чтобы сконцентрироваться и передать ногам импульс, который исторгнет его из мальстрема, до него доносится сдавленный смех, такой же дикий, как раздающиеся вослед крики, он отфыркивается, едва яркость перестала быть для него смертельной, отряхивается, словно после купания, вертясь юлой и разбрызгивая как можно дальше обжегшие его капли, отбиваясь от лиан и щупалец, он словно запутался в сети, сети из света, что тащит его за собой, эта сила дышит со всех сторон, разъедая кожу на голове, проскальзывая в подмышки, пытаясь проникнуть меж век, которые он все еще трет кулаками, но сила эта везде, она устремляется в поры на лбу, терзает напором губы, опаляет нежный пушок на плечах, омывает все тело, забивает нос, чтобы было нечем дышать и раскрылся рот, кружится вихрем меж ног в паху, окрашивает в синие переливы клейма, раскаляет добела соски, проникает, подобно тонкому хрусткому волокну, во все крошечные отверстия, чтобы расширились и набухли, вворачивается, словно веретено, в задницу, принимается под давлением набивать изнутри все тело, вторгаясь через рот, зад, уши, глаза, чтобы изнутри пробуравить себе новые дыры, сквозь которые солнце проденет лучи, чтобы привязать к себе. Ребенок поднимается на ноги, весь прозрачный, готовый взорваться светом во тьме, что

обрушилась на арену. Затмение. Он отводит кулаки от глаз: теперь он уже не боится света, потому что он сам – свет, возлюбленный сын солнца. Хмельная чаша арены замерла, затаив дыхание. Немного вдалеке он замечает стоящую на коленях в песке золотую статую, к которой его тянет, словно магнитом, статуя тихо мерцает, посверкивает, дабы устремились к ней лучи, исходящие от ребенка. Ребенок медленно к ней приближается, загораживаясь от отблесков собственного сияния. На половине пути, что их разделяет, его вдруг охватывает желание ринуться к ней, прыгнуть ей на спину или повалить, кажется, что она, в ореоле светящихся побрякушек, совсем не тяжелая. Внезапно он чует, что медлить опасно, он отклоняется от прежнего пути и думает обойти статую, подойти к ней сзади. Ребенок замечает, что понемногу растрачивает сияние, оно струится из него золотой кровью, тянется за ним пыльным следом: по мере того, как он приближается к статуе, та впитывает его свет, с каждым взглядом он отсылает ей все больше своих лучей, и она словно бы принимает эстафету и освещает тогда арену, откуда свет, отражаясь от изогнутых плоскостей, взмывает вновь в небо. Светило зажигается снова. Ему опять становится страшно, когда он замечает, что голова статуи шевельнулась, почти незаметно, так же медленно, как движется и он сам, продолжая обходить вокруг статуи, чтобы прикоснуться к ней с тыла. В двух метрах от статуи он замирает, чтобы в тени ее рассмотреть: это фигура улыбающегося юноши с голубыми глазами, волосы убраны в шиньон, в котором закреплена небольшая мантилья, грудь затянута в искрящийся золотой камзол, переходящий на талии в закры-

вающее колени длинное розовое платье из жесткой ткани, шлейф собрался складками, лежащими под прямым углом. Вид платья успокаивает ребенка: женщины всегда были к нему добры, и статуя может вертеть головой сколько угодно, если же попробует встать, она сразу запутается в такой неудобной одежде. Ребенок улыбается статуе. Он подумал, что голову приводит в движение какой-нибудь механизм, ему остается лишь ее оторвать и, показывая толпе в качестве трофея, обойти арену, должно быть, именно этого все от него и ждут, а в награду ему пожалуют все золото с этой статуи, с нее стащат разукрашенный камзол, а его понесут на руках, он сможет также оставить себе платье, придумает, что с ним сделать, подарит его матери, если же ее не отыщет, сделает на память себе из платья постельное покрывало, как жаль, что эта статуя, которой он должен снести голову, такая симпатичная. Вдруг ребенок обо всем забывает: он забывает и о статуе, и о себе самом, он вновь ползет крабом и ничего не различает, в голове нет ни одной мысли, и тело его может сейчас распластаться на песке и провалиться в сон. Но статуя, храня неподвижной верхнюю часть тела и не меняя посадки головы, сантиметр за сантиметром поднимается, и шлейф, оставив на песке бороздку, становится обычной накидкой, ребенок отступает, статуя делает в его сторону шаг, затем вновь замирает. Застывшая было улыбка делается шире, демонстрируя зубы, а платье спадает само, складываясь в пирамиду рядом и обнажая ноги в облегающей розовой ткани и туфлях на плоской подошве, как у балерины. От статуи отделяются две другие поменьше, которых она прежде скрывала, они принимаются торже-

ственно махать руками, как две уродливые марионетки, выводить на песке фалдами распахнутых одеяний лиловые арабески и строить карликовые пирамидки, на которые опираются потом крошечными, пухленькими, волосатыми пальчиками. Большая грациозная статуя по-прежнему улыбается ребенку: сопровождаемая двумя механическими шутами, сама она кажется настолько живой, что ребенок в ужасе устремляется прочь, чтобы отыскать выход. Но решетка уже опустилась, напрасно он ранит об острые края руки, он видит лишь легшую гниющей лужицей тень, а из глубин доносятся знакомые стоны. Его охватывает гнев, он высмаркивает спиртные пары, которые выдыхали ему прежде в ноздри, выплевывает разжеванную мяту, которую положили в рот. Он поворачивается и идет прямо к статуе, подняв голову, которая ей по пояс. Он хочет ее опрокинуть, разбить, хочет разбежаться, чтобы влезть на нее, запрыгнуть в последний момент, вытащив из шиньона шпильку, чтобы волосы, упав, закрыли ей весь обзор. Он хочет вновь обрести речь, чтобы задобрить этого исполина. На бегу он сочиняет длинное обращение, которым предварит атаку, он остановится перед статуей и начнет задавать ей учтивые вопросы, сделает комплимент относительно осанки и гордо посаженной головы, которую он попытается оторвать, он спросит, в каких землях добыто украшающее ее золото, все ли оно настоящее, о каком трауре свидетельствует маленькая лента на шее, откуда такая тошнотворная розовая краска, которой выкрасили ткань, облегающую ее ноги, и что за плиссе такое, какую часть женского тела или, быть может, морской ракушки, изображают выставленные напоказ

складки у нее на манишке, но слова застревают у него в горле и вместо них наружу летит плевок. Исполин уклоняется, отвернувшись, но больше не улыбается, ребенок бросается вперед, собираясь прыгнуть, но фигура не отступает. Ребенок хочет добраться до шиньона, словно под ним спрятан выключатель, способный выпустить дух, просвечивающий родничок, такой тонкий, что достаточно слегка нажать, и гора грохнется наземь. Но прыжок не получается, складки оказываются слишком прочными, одеяние великана подобно щиту, от розово-красных всполохов рябит в глазах, ребенок отскакивает, словно его ударили. Он роет песок ногами, отбегает и нападает вновь: одеяние вспыхивает ярким светом, поражая его, словно молнией. Ребенок вновь падает и решает тогда, что надо попробовать подластиться к гиганту, надо потереться о него и начать урчать, как это делают кошки, выгибая спину, или же броситься ему на руки и измучить нежностями. Шуты тем временем ускакали, толпа снова бурлит, и ребенок, весь вспотевший и застывший без движения, мечтая о новой атаке, видит, что великан распадается на разные части, теперь это не одна, а три схожие меж собой фигуры, одна из которых замирает, а две другие идут прочь от покинутого ими кокона; ребенок на них не глядит, опасаясь утратить бдительность и отвлечься от великана. Теперь он думает, что эта одежда – живая, что это животное, зверь, выдрессированный специально, чтобы изменять окрас, превращаться в платье или разворачиваться веером, складываться оттоманкой или собираться в цветок, распластываться в виде сомбреро или сминаться в лживый листок бумаги, скатанный шариком и спрятанный в

чьем-то кармане; что одежда эта, этот волшебный плащ – такой же участник действа, как и исполин, это его жена или, быть может, украденный ребенок; что он сам может превратиться в такой плащ, когда наконец-то прельстит статую. Ребенок всматривается в глаза статуи, которые на расстоянии кажутся ему зеленоватыми; он уверен, его напряженный взгляд при определенном накале обязательно зажжет в пространстве искру примирения, тогда исполин откроет объятия и ему останется лишь уснуть у него на руках, хотя бы чуть-чуть восстановив силы. Задыхающийся ребенок по-прежнему на ногах, он дрожит, складывается пополам, живот сводит спазмами, пот катит градом, зубы стучат, стоит только вздохнуть, во рту полыхает, он не замечает, что член подрагивает, то набухая, то скукоживаясь, в зависимости от того, чувствует ребенок страх или строит коварные планы. Боковым зрением он замечает две колышущиеся рыхлые массы, которые, приближаясь, превращаются в кляч в брякающих медных доспехах с шипами, с серыми от пыли попонами из дамаста, обе в кровавых подтеках, идущих со лба, заливающих слепые глазницы, на ушах металлические рожки, идут одна за другой, на клячах какие-то подрагивающие холмики, приплюснутые китайскими шляпами, сзади тяжелый войлок, на ногах аляповатые металлические сапожки, обе злобно покусывают удила, вяло продвигаясь вперед с высокомерным видом. Вначале ребенок думает, что толпа отправила к нему карабинеров, дабы избавить от гипнотического господства статуи, он должен отрешиться от наваждения и выбрать себе избавителя, он подходит к одной из кляч, которая начинает дергаться и

ржать, почуяв его запах, животное знает, что сейчас последуют удары, крики, а потом он свалится в жуткую лужу крови. Ребенок решает: если карабинер не понимает знаков, указывающих на статую, которая, он чувствует, где-то у него за спиной, тогда он зайдет сбоку или там, откуда из металлической задницы торчит запыленный плюмаж, и оседлает эту выреху, приклеившись к ее панцирю. Но вдруг он чувствует, что его головы касается неизвестно откуда взявшийся холодный клинок, который, кажется, стремится к определенной точке напрягшегося затылка, острые края скальпеля погружаются в плоть, копаясь там и ища ложбинку верхнего позвонка, клинок то входит, то выходит, словно это не плоть, а масло, он поворачивается в ране, чтобы перерезать что только можно, и давно прошел бы насквозь, если бы ему не мешала твердая поперечина. Разгневанная толпа орет, она все еще на стороне ребенка. Поджав голову, ребенок сражается с клинком, вертится, стремясь его победить, вдоль хребта у него течет кислота, растворяющая металл, каждый раз, когда клинок входит внутрь и касается кости, от него откалывается целый кусок, ребенок мог бы уберечься и убежать, проскочив под животом лошади, которую колотит, срывая с нее доспехи, но он остервенело совокупляется с этим клинком, уверовав в собственную непобедимость. И поцелуй металла и плоти мог длиться бы без конца, если б к скотине не приблизилась статуя, протягивая хрупкую длань, чтобы та отступила. Ребенок чувствует, что клинок оставил его в покое, и тогда он в отчаянии бросается ко второй лошади, дабы и второй меч почтил его рану. С каждым скачком из затылка бьет тонкая кипящая

красная струйка. Толпа, проклиная вторую клячу, приходит в бешенство, но ребенку не хватило времени подойти к ней поближе, он уже бежит, озираясь повсюду и ища выхода, однако шайка гномов, выскочивших у статуи из-под юбки, размножилась и теперь собирается наброситься на него, чтобы сбить с пути и швырнуть на статую. Хихикая, они несутся, словно снаряды, от которых приходится уворачиваться, манят его, завлекают, улюлюкая и причмокивая, высовывают языки, таращась на его член, мечутся у него под ногами. Но статуя их прогоняет, ребенок восхищен сиянием, исходящим от ее длани, словно это драгоценный камень, сверкающий в лучах света, карлики прячутся под песком, будто это ковер на сцене, скрывающий створки люка. Ребенок обводит арену взглядом: толпа успокоилась и, если глаза его не обманывают, на площадке остались только он и статуя, ее двойники тоже исчезли. Ребенок замирает, переводя дух, кровь из раны уже не течет, красный кратер затягивается, ребенок стоит у ног статуи и не знает, что теперь делать, он протягивает ей свою руку. Этот жест превращает великана в танцовщицу. Она подпрыгивает и изгибается, запрокидывая голову и выставляя грудь, так сильно, что едва не падает. Она не обращает никакого внимания на протянутую к ней из последних сил руку, однако не сводит с ребенка глаз, даже тогда, когда он пытается отвлечь ее, брякая над головой разноцветными острыми шпорами, трется упругим задом о ее ляжки, обегает вокруг и поворачивается к ней спиной; она вновь сбросила с себя платье, тыльной стороной руки водрузив его на песок и изогнув так, чтобы на короткий миг перед тем, как обрушиться,

платье превратилось в ширму, которая позволит остаться с ребенком наедине. Стальной крючок уже не щекочет голову, танцовщица опускается на песок поцеловать детскую ногу. Это сладостное самоуничижение колосса, который, покачивая похотливыми бедрами, покрывается трещинами, чуть было не вызывает у ребенка слезы, но тело его непроизвольно исторгает из себя нечто иное: припавшее к детской ноге умоляющее лицо перепачкано брызгами феерического поноса. Толпа вопит от гнева, поскольку от нее что-то скрывают. Отведав детского дерьма, великан поднимается и превращает сложенное платье в снаряд для гимнастических упражнений, в панцирь сраженного чудища, чтобы приспешники могли, подпрыгивая на нем, устремиться к ребенку, подобно трем пылающим ядрам, трем стрелам, которые разбудят уснувший было кровяной кратер у него на затылке. Гигантская золоченая кукла тает на солнце, пропуская вперед пособников; быть может, она удалилась, чтобы умыться, рыболовные крючки, заменявшие ей бандерильи, были игрушечными, а вот те, что терзают ребенка сейчас, угодив ему прямо в спину, пронзают его невыносимой болью, он сучит ногами, подпрыгивает, голова его запрокидывается, он пытается вырвать три ломких гарпуна сзади, но они так глубоко вошли, что он лишь усиливает боль, он валится на четвереньки, пытается перевернуться на спину, ударяясь бедрами и раскидывая вокруг песок, но лишь вонзает три пики глубже себе в хребет, толпа жрет и гогочет, ребенок брызжет слюной, он уже ненавидит лучезарное божество, что вновь предстало прямо над ним. Двойники унесли просторное розовое одеяние, вместо него

ребенок видит теперь красный шелковый платок, повисший в руке на железной штуковине, рука задвигалась, и платок развевается в воздухе. Эта новая загадка должна озадачить ребенка: быть может, в шелестящей ткани таится ключ, способный прекратить этот кошмар. Но ребенок едва обращает внимание: он пытается встать на ноги, он задыхается от судорог гнева, который сотрясает его изнутри, гнездясь в животе, с каждым выдохом тот поднимается все выше к горлу, сжимая его в молчании, выбрасывая наружу лишь пену, тогда сдавленный крик, возвращаясь обратно, жалит утробу, подобно мечу, распарывающему кишки. Он не может кричать, не может говорить, у него даже нет теперь губ, чтобы гримасничать, он их сожрал, из подрагивающего члена время от времени текут моча и остатки спермы, из носа капает кровь, и ему хочется лишь одного – превратиться в песок, который все это в себя вбирает. Божество вновь принялось танцевать, размахивая у него под носом куском материи, под которой сокрыта жгучая тайна, оно выставляет колено, вставая одной ногой на мысок, сжимает ягодицы и картинно кладет руку себе на бедро, словно принцесса, все жесты торжественны и полны особенной значимости. Божество впервые обращается к ребенку, только это не членораздельные слова, а выдохи, движения губ, плески, непрекращающиеся урчания, бормочущие, нашептывающие нежную брань, воркующие сладкие заклинания, тянущие серпантин ругательств, миллиард крошечных раздвоенных язычков, что несутся по всему телу, собираясь у раны, чтобы укутать ее невесомым покровом. Эта литания нарекает ребенка, называет его «солнечным рыцарем»,

«волооким детенышем», «меховой палочкой», «ласковой дырочкой». Ребенок из последних сил тянется к шиньону, который все хотел сорвать, хватает облегающую его мантилью и стаскивает шиньон, и предстающее тогда его взору вызывает полнейшую оторопь: пряди падают на лицо, и перед ним оказывается совсем еще мальчик, едва старше или сильнее, беспомощный и нежный, как дева, ребенок узнает в нем друга, брата, с которым вместе играл, строил песчаные замки у моря, болтал ночи напролет в одной кровати, не в силах уснуть. Он понимает, что любит его до безумия, он подходит ближе и склоняет главу, демонстрируя свою рану. Но бывший гигант, оставшийся без громоздкой своей шевелюры, лишь чертит на голове ребенка концом лезвия, по-прежнему укрытого тканью, дуги и светила некоего созвездия, едва касаясь при этом кожи. Войдя в раж, он вытирает о детское плечо лезвие меча перед тем, как залить его кровью. Ребенок хотел бы раствориться сейчас в теле старшего друга. От сияния, что стоит перед ним, голова его вновь наклоняется, уступая как будто бы под гипнозом, и меч легко входит в имеющуюся уже рану и проторяет себе сверкающий путь прямо к сердцу. Но вначале он протыкает легкие: ребенок поворачивается, изо рта у него хлещет кипящая кровь, она такая густая, что он мог бы слепить из нее для себя опору и отдохнуть. Чувствуя тошноту, божество берет второй меч, перед этим вытащив и отбросив в сторону первый, прошедший сквозь тело ребенка, вертящегося волчком, он поднимает упавший меч и вытирает его о детскую ляжку. Толпа неистовствует, обзывая его стервятником, мясником, которого тоже скоро отправят на живодерню.

Ребенку удается подбежать к старшему, требуя от него последнего взмаха, он ему помогает, он опускает голову еще ниже и утыкается ртом в набухший карман, в котором подрагивает в тканевом треугольном чехле хуй, а божество видит в этот момент лишь место на позвоночнике, хрупком, словно галлюцинация, где осталась последняя вена, в которой теплится жизнь. Ребенок под ним оседает: за миндалевидными веками проносятся последние видения, брат его сел на корточки, чтобы проткнуть лоб в том месте, где выжжена цифра «1», кинжалом, взрезающим все былые воспоминания, их неясные образы меркнут, словно светильники, один за другим, но в момент, когда ноги и руки цепляют к крюкам, чтобы старая кляча отволокла его по песку к разделочному столу, в тот самый момент, когда он еще каким-то образом чувствует, что божество отрезает ему по требованию орущей публики ухо, он с последним выдохом чуть подпрыгивает и хватает сжавшую трофей руку, вцепляется в нее, разжимая и выхватывая это ухо, чтобы кинуть его наугад какому-нибудь парню с трибуны, меняя ухо на розы и винные бурдюки триумфа.

Пират с беспокойством ждал следующего выхода, он знал, что теперь на арене появится один из близнецов, но он путался, который из них был с номером «2»: тот, чье лицо воспротивилось кислоте, или же тот, который от этого пострадал на расстоянии? Плюс ко всему, номера были нарисованы, это не настоящие клейма, так что близнецы могли ими поменяться. Только что закончившееся сражение длилось минут пятнадцать: первые

десять показались ему целой вечностью, он сощурился, когда кровь забила фонтаном, потом подкатила тошнота и он начал блевать, он и не подозревал, что такой чувствительный. Конец состязания прошел как-то мимо, он глядел, сощурившись, и не понял особо, ни что именно там так быстро происходило, ни в чем состоял главный маневр, ему почудилось, что ребенок одурачил того, что повзрослее, и он спрашивал себя, не поменялись ли они вообще ролями, когда скрылись за импровизированной ширмой, у них была не такая уж большая разница в возрасте и, пока шло представление, он их путал, несмотря на костюм и парик, а еще он опасался, как бы это нарушение зрения не стало еще сильнее с появлением близнеца, он задавался вопросом, не слишком ли долго торчал на солнце перед тем, как началось действие, он окликнул торговца, разносившего набитые льдом примочки, взял сразу две, расстегнул немного рубашку, водрузив одну из них на плечи, другую на мгновение приложил к глазам, и перед мысленным его взором вспыхнул снимок двух близнецов. С двух сторон его толкали локтями, слева – соседка, постоянно бившая его веером, справа – большой жирдяй, болтавший веером, когда неожиданно хватал бинокль. Смотря сквозь призрачные лица двух братьев, Пират пытался представить, что происходит на заднем плане, это валанданье на площадке, хождение туда и обратно, ему хорошо знакомое, поскольку он сам часто бывал на арене: там разбрасывают сейчас в разные стороны свежий песок, чтобы тот впитал в себя нечистоты и кровь, похоронив присосавшихся к ним мясных мух, затем полумертвая лошадь, которую нещадно стегают, тащит своего рода борону, чтобы снова

придать арене опрятный праздничный вид, тогда все позабудут о только что свершившемся смертоубийстве. Пират обратил внимание, что картина происходящего меняется в зависимости от того, снизу на нее смотреть или сверху: он столько раз наблюдал в глазок на двери разделочной за тем, как дети выкатываются на площадку, – тогда они казались ему в самом деле опасными, смертоносными метеорами, свирепыми хищниками. Но, если глядеть на них сверху, они кажутся такими маленькими, такими хрупкими, и игра, которая прежде его возбуждала, внушала страсть, кажется отвратительной, гнусной. Взрыв всеобщего гогота заставил его открыть глаза: одна жалкая коварная ветошь, тряся телесами под китайской шляпой, из тех, которым нравится первым поранить детскую плоть, пробовала тихонечко просочиться на площадку, покачиваясь на тщедушной клячонке, на арену посыпался град апельсинов, которые швыряли крикуны из солнечной части, сразу же преграждая путь. Плоды усеяли полукруг света, который уже порядочно потускнел. В центре на табло появилась большая цифра «2», все ждали, что следом завертятся нижние планки, указывающие вес ребенка, который вот-вот выйдет на площадку, но никаких других сведений больше не появилось, тем временем тромбон и кифара уже начали оду скорбных мелодий, и Пират, улыбаясь, подумал, что это верно: его близнецы в самом деле бесплотны.

На арене появился близнец с невредимым лицом: он не ползал и не сгибался над землей в три погибели, не отворачивался от солнца, не щурил-

ся, никуда не бежал, он был весь залит светом, на шум не обращал внимания, с высоко поднятой головой он обошел арену, словно оглядывая бальный зал, это он был статуей, заводной, обнаженной, а перед ним вертелась квадрилья обезумевших марионеток. И все же пора было на него наброситься, нанести с той или другой стороны первый удар, проткнуть, заставить повиноваться. Один из самых сильных юношей опустился у него на пути на колени: весьма учтиво, но, казалось, не видя его, близнец слегка отклонился, чтобы пройти чуть в стороне, но юноша на коленях рванулся вперед, чтобы вновь преградить дорогу; тогда, уже больше не церемонясь, близнец, наделенный особым чувством равновесия, спокойно забрался по нему, как по лестнице из трех ступенек, сначала встав юноше на колено, потом на плечо и голову, а потом спрыгнул, да так, что и пылинки с земли не взлетело. Постоянно чудилось, что все старается у него из-под ног ускользнуть, что шаги его – размеренные шаги землемера, переустраивающего амфитеатр согласно своим желаниям, превращающего округлые линии в прямые и углы и мечущего тени из стороны темной на сторону освещенную, дабы добавить туда немного прохлады. Быть может, Пират был единственным, кто заметил, что ребенок не оставляет на песке никаких следов, а вот силуэт его, обозначившись на площадке, истаивает очень медленно, местами же друг на друга находят словно несколько теней сразу, и кажется даже, что все это материально, тогда как само тело прозрачно и призрачно. Гигант, оскорбившись, что по нему прошлись ногами, плюнул на ладони и призвал на помощь своих праздношатавшихся паршивцев, дрянных забой-

щиков, надутых чудиков, загонщиков и гарпунщиков, сошедшихся теперь вместе. Толпа орала до хрипоты, поскольку арена, на которой творилось такое самоуправство, смахивала уже на великосветский салон, где благочинно играют в вист, а высокомерное поведение ребенка перечеркивало любые острые ощущения, какие надлежит испытывать при виде кровавой бойни. Теперь он сколько угодно мог мерить арену шагами, воображая себя хоть зодчим, хоть пауком: колонна, разделив площадку на две половины, оставила ему только малую часть, освещенную солнцем и усеянную апельсинами, о которые он должен был спотыкаться или давить их, но он ступал по плодам, словно бы не касаясь. Напротив располагалась зловредная когорта, а он глядел с нежностью, переводя изучающий взгляд от одного к другому: в центре стоял самый большой, лелеявший надежду отомстить за нанесенное ему оскорбление, по бокам – расфуфыренные холуи в красных плащах, хлопавшие ими у него прямо под носом, носильщики с их крючками, а по концам – само ничтожество, ехидные существа, которым положено добивать, согласные на все отщепенцы, мечущие косые взгляды и прячущие кинжальчики в рукавах одежд настолько потрепанных, что, кажется, они сами поотрывали с них все золото, пытаясь его обменять; с противоположных сторон на площадку тихонько выползли две вырехи, притащив герольдов, буквально вжавшихся в седла в страхе, что опять полетит в них апельсиновое пюре. Ребенок чуть повел бедрами: Пирату почудилось, тот начнет сейчас танцевать. Но гигант, почуяв такую опасность, наплевав на законы, предписывающие строгий порядок, подает сигнал, чтобы все двину-

лись вместе с ним на ребенка и продырявили его со всех сторон, всадили ему штырь в затылок и тем обесчестили. Пират молился, чтобы случилось какое-нибудь чудо и жизнь ребенка была вне опасности: пусть он сломает ногу, тогда по всем правилам он не сможет участвовать в дальнейшем соревновании, пусть пойдет проливной дождь и затопит арену. Но, едва коснувшись плоти, зубила и стальные крюки отскакивали далеко в сторону и, отделившись от бесстрастного лица, появилось второе лицо, лицо изуродованного брата, проступившее на затылке и уже раскрывшее глаза, и при виде двойного лика, – то прекрасного, то кошмарного, – при виде такого пугала раздвоившейся плоти нападавшие отступили, оказавшись в полной растерянности, они стояли с пустыми руками, растеряв все оружие и не зная что делать с близнецами, соединившимися в одном теле, Пират вдалеке опустил взгляд чуть пониже, проверяя, не удвоило ли чудесное преображение гениталии. Холуи притащили гиганту самый большой и острый меч, появление которого повергало трибуны в безмолвие и лишало их мучительного томления, сокрушал он мгновенно и пользовались им лишь в исключительных случаях. Увидев, что меч приближается, близнецы склонились, чтобы облегчить удар. Но гигант – танцевать он не мог – не знал, куда именно вонзить этот меч, должен он проткнуть чудище или ангела, и, пока он колебался, меч выпал из рук и, взлетев, пронзил обоих, войдя через глаз одного и выйдя через рот другого, все это было как-то нелепо, замысловато, кровь не шла вовсе. Пират почувствовал дурноту. Позади уже тащилась кляча, чтобы увезти труп, и за мечом, прокалывая два лба, последовал корот-

кий кинжал, Пират не хотел смотреть, как они там доделывают работу, он вышел и направился через подземелье под амфитеатром в разделочную.

Разделочная представляет собой выложенный плитками коридор без окон и дверей, довольно широкий и высокий, чтобы в нем могли разминуться две лошади, по периметру стоят разделочные столы, по которым все время бежит вода из больших кранов, никогда не закрывающихся, поскольку вытравить этот дух из мрамора практически невозможно, стены забрызганы той же кровавой слизью, что и неоновые лампы на потолке, светящие красноватым светом в водяных испарениях, где скользят человеческие фигуры, пытающиеся ощупью отыскать простертое тело, они вцепляются в него – тогда слышится, как звякают золотые монеты о плитку, сначала черную, потом белую, – и друг друга сменяют: одни платят, чтобы получить желаемое, другие получают за то, что это желаемое разделали, – так они здесь и сосуществуют, это воронье слетается сюда, прихватив особую обувь, чтоб не скользить, и идет прежде торговцев, которые ждать привыкли и, пока суть да дело, выпивают в честной компании, ни слова не молвя о представлении, за которым могли бы поглядывать из-за мешков с опилками и баллонов с карболкой. Бывает и так, что и они заявляются сюда все в черном, словно принарядившиеся к празднику горожане, надев перчаточки, дабы предаться удовольствиям, о которых можно догадываться, судя по доносящимся воплям. Воронью не нравится меж собой сталкиваться, эти терпеть не могут друг друга и с ума сходят

от зависти, они готовы перегрызть глотку, чтобы заполучить билет, позволяющий приблизиться к только что принесенному трупу первым, а тем, что толкаются следом, остается лишь слизывать пену из пасти попировавшего было соперника, которому уже свезло обласкать юную плоть, и последние в курсе, как сильно эта пена воняет и сколько времени надо ее слизывать, а потом выплевывать, лишь в самом конце почувствовав подлинный вкус парного мяса. А, чтобы раздобыть первый билет, – детей всего шесть, билетов же дают пять, поскольку в противном случае раздельщикам достанутся только обрезки, – ждать приходится множество долгих месяцев, хитрить и злоупотреблять знакомствами, выслеживать и угрожать остальным падальщикам, и до разделочной добираются уже без сил, и там остается лишь рухнуть, наброситься, ничего другого не видя, впиваясь в маленький труп до тех пор, пока смотритель не ударит в гонг и не схватят за плечи, давая место следующему. Счастливчики же, которым все-таки удалось раздобыть билет – визитер, удовольствовавшийся последним билетом, или самый деятельный, смогший беспрепятственно перекупить на черном рынке первый билет, – в праве оставаться в разделочной столько, сколько им требуется, чтобы, не ограничивая себя временем, насладиться простертым телом. Обладатель такого билета снимает шляпу, кладет ее на опилки (ношение цилиндра – знак уважения к соперникам), взбирается на стол и ползет на животе к ногам ребенка, принимается обсасывать каждый палец, упиваясь скрежещущим на зубах сиропом из сладкой крови с песком, затем поднимается выше, слизывая грязь и дерьмо с округлых ляжек,

целует по тысяче раз каждый пах и с жадностью заглатывает маленький остуженный деликатес, выплевывает его, чтобы дальше сосать и облизывать пахучие яйца, задыхаясь, он дрочит затвердевший член, чтобы полилась из него последняя еще оставшаяся трухня, трясет им, восторгаясь, что похитит все брызги у того, кто придет следом, давит его и терзает до тех пор, пока не выступит гнилостное синеватое семя, переворачивает покойника, зарываясь меж ягодиц и вылизывая зад, тычась носом и разогревая остывающий и пахучий, покрывшийся трещинками и почерневший анус, разминая и перемешивая засохшие кусочки дерьма в потоке обжигающей слюны, просовывая язык внутрь кишки, где язык становится как бы мягче и тянется дальше, а руки тем временем разводят маленькие бледные ягодицы, из рта хлещет слюна, так можно проникнуть еще глубже, забывая обо всем в этой бездне, вплоть до цвета собственной кожи и образа матери, впитывая первые следы разложения, вдыхая газы, так много, что от этого можно даже воспламениться, ведя языком по выступающему хребту, оставляя след, свидетельствующий об испытанном счастье, и вдруг останавливаясь возле потухшего кратера на затылке. Поганый сластолюбец оказывается в замешательстве – он человек деликатный, – он покрывает рану поцелуями, едва касаясь, стараясь в начале особо не нажимать, чтобы, немного погодя, с еще большей яростью протолкнуть в нее свое рыло, срывая зубами запекшуюся корку, раздирая рану так, чтобы снова начало литься, разъявив рот так, чтобы темный теплый ручей струился прямо в глотку, сжимает голову, сдавливая виски и проникая в ушные раковины, пихая туда язык,

покусывая сохранившуюся мочку, облизывая и сося ее, словно это еще один член, затем он переворачивает труп на спину и набрасывается на рот, лижет его и целует, отрывает и жует губы, вставляет меж зубов пальцы, чтобы заполнить весь рот своим языком, затем поднимается, чтобы вновь опуститься, устроившись на теле поудобнее, – ему уже неймется кончить, – гладит, ласкает шею, куда уже заправил свою залупу, сдавливает ее, душит, поскольку ничего ей уже не сделается, и вдруг вперяется в рисунок на лбу, разглядывая украшающие его завитки, которые, кажется, выражают все испытываемое им сейчас наслаждение, и, все еще занятый своим делом, вдруг немного смущается, поскольку веко на остекленевшем глазу приподнялось и ребенок, чувствуя, как в ледяном животе у него разливается поток обжигающей спермы, выплевывает изо рта член, чтобы в ответ улыбнуться.

Когда Пират заявился в разделочную, с близнеца еще не успели снять оков, люди суетились вокруг, серые меж клубов пара, отводя в сторону, понукая, колотя лошадь, чтобы она не двигалась с места и можно было снять борону, собирали просыпанные опилки и прогоняли прочь воронье, которому не терпелось подойти ближе. Пират сорвал с какого-то мужика цилиндр, чтобы походить на падальщиков, и, пригрозив кулаком, принялся душить, пока мужик не отдал билета, такое с ним случалось и прежде, Пират выбрал из толпы самого чахлого обожателя. И вот он уже вклинивается в стаю воронья, слетевшуюся к телу, кажется, ухо цело, должно быть, публика не потребовала

его отрезать, или же нож воспротивился, однако, вокруг полно падальщиков, норовящих оттяпать ноздри или соски, отведав раньше других вкус юной крови, они швыряют поденщикам золотые монетки, и право выйти из круга получает тот, кто оказывается самым щедрым. Но Пират мешает, отталкивает его и сам бросается к близнецу, с которого только что сняли оковы, нежно берет его, недвижимого, на руки. Прижимает его сильно-сильно к груди и пускается наутек, по пути укладывая на месте нескольких, кто вознамерился помешать, несется по обдуваемой сквозняком галерее, боится, что ребенок замерзнет, бросает к чертям собачьим цилиндр, который теперь уже не может ему помочь и лишь зря отсвечивает, пытается на бегу углядеть позабытую одежку или кусок ткани, которые могли бы согреть, а заодно и спрятать ребенка, рвет на себе рубашку, чтобы укрыть его и приткнуть к своему телу, от яростных движений на бегу рубашка расползается уже сама по себе, ребенок прижимается к нему изуродованным лицом и Пират чувствует, что и ему передается это уродство, медленно подступает к сердцу, внезапно он замечает, что в туннеле из конца в конец протянута длинная запыленная полоса ткани с надписью, объявляющей о давно прошедшем сражении, состоявшемся лет двадцать назад, он подпрыгивает, чтобы сорвать потемневшее полотнище и укутать ребенка, на теле с подсохшими ранами отпечатываются имена давно павших героев. В самом глубоком туннеле, которым пользуются участники состязаний, Пират находит выход с северной стороны арены. Он попадает в ту часть города, где лучше бы не показываться, с покрытыми словно налетом серы, больными

флуоресцирующими зелеными палисадниками. Время к закату, и чуть дальше, куда он как раз направляется, брезжит сияние несчетных свечей, которые зажигают в честь праздника. Их пронесут по всем улицам города, истратив бессонной ночью все силы на возлияния, что сотрут всякую память. Пират задумал добраться до леса, где устроил когда-то пожар, но для этого ему надо либо забраться на городской холм, а сил нести туда ребенка ему не хватит, либо спуститься дальше в цыганский квартал и пересечь его, чтобы добраться до леса с другого края. Пират смешался с толпой из тех, у кого состязания не вызывают особенного восторга или кому не досталось билетов, с толпой оборванцев и бедняков, толкающихся на подходах к арене, чтобы поддаться всеобщему веселью отважных варваров. Временами Пирату кажется, что ребенок у него на руках тает, что он всей массой стекает вниз, чтобы ему стало легче, и тогда сам несет Пирата, тогда ноги Пирата земли не касаются и он чувствует себя огненным духом, явившимся, чтобы защитить пламя тысяч свечей, трепещущих на ветру. Под складками ткани, которые выглядят, словно он напялил на себя пышный карнавальный воротник, детские руки хватают его за плечи, колени жмутся к бокам, голова болтается, ударяясь о грудь, и он чувствует, как шевелятся губы, найдя сосок. Пират напевает, ему даже не нужно пить, чтобы испытывать теперь то же ликование, что и остальные вокруг. На улице так жарко, что люди толпятся у окон и, протягивая руки, вопят, пока какая-нибудь разбуженная старуха не выльет на них ведро воды. Пират отпрыгивает, чтобы вода не намочила сверток. Толпа в цыганском квартале

по-прежнему не желает расходиться, и отчаянный везунчик с оливковым оттенком кожи окружен множеством бледноликих, золото меж чувственных губ и под черными прядями, сокрывшими уши, сверкает все ярче. Пират думает: если в цыганском квартале ему все же придется опустить ношу, чтобы немного прийти в себя, то надо будет надорвать ткань, соорудив подобие капюшона, который, спадая на плечи, сокроет обезображенное лицо, и прорезать там дырки, чтобы ребенок мог спокойно дышать.

Лес все еще сохранял огненный жар. Он уже не был таким густым и заросшим, как прежде, высокие деревья и мелкая поросль, былая зелень, даже самая стойкая, – все это сгинуло, белки унеслись прочь, а слизняки превратились в съежившиеся комочки сажи, прежние ароматы улетучились, все пространство, потрескивая, сплющилось, теперь это были лишь тлеющие, потрескивающие головешки в сладковатом дымке смоквы, который не желал выветриваться и висел над мерцающими средь золы искорками, прогнавшими пожарных, чтобы они тут более не топтались, те исчезли без малейшего беспокойства – гореть было уже нечему. Пират пошел там, где прежде росло мелколесье, которое он знал наизусть, на пути ему все еще чудился легкий шелест листвы, он вслушивался в шорох ветвей, думая, что здесь его никто не увидит, тогда как на самом деле среди выжженного дотла пространства он был как на ладони, откуда не взгляни среди этой гари. Почва казалась такой нежной, что он разулся, ноги местами чувствовали тепло или даже жар, а местами угли

уже остыли и был неприятный холод, он взметал на поверхности пепел, обнаруживая чуть глубже еще теплящееся мерцанье, ему казалось, огонь возвращается, а ребенок на руках оживает, и он хотел отыскать в земле жерло вулкана, которое послужило бы детским ложем, он дул на угли, беспрестанно вороша их до тех пор, пока снова не запылало пламя, обжегшее ему щеки. Он рыл, мешал, окапывался, обустраивая логовище, раскидывая гарь, чтобы добраться до раскаленных глубин, похлопывал, словно пекарь, складки обжигающей лавы, возводил насыпь, ровняя края рукотворного кратера, чтобы внутри было удобно. Собрав комки попрочнее, в центре углубления он возвел ложе из вулканического стекла, застелил его простынями из пемзы, подушки набил огнем. Когда он развернул сверток, чтобы уложить ребенка, оказалось, что он сам тоже почти совсем голый, рубашка намокла от пота и вся скрутилась, превратившись в рваную повязку на бедрах. Детская кожа была пленительной до безумия, тут не было речи об очевидной нежности юного тела, каждая часть которого по-своему сладостна, – нет, это были волны какой-то потаенной отрады, что рвалась наружу, а потом ускользала прямо из-под протянутых рук, пускала меж ними флюиды, чтобы ударил электрический заряд, неровные шрамы были еще приятней на ощупь, нежели гладкие округлые колени, и все это было столь отчаянно, безнадежно, кожа эта была столь мягкой, будто ждала ударов хлыста, и целиком все тело, простертое, готовое к ласкам, пульсирующее, струящееся, просило, чтобы его протыкали и мяли, выставляло напоказ словно специально прорезанные розовые щелочки под

ногтями, дырочки, словно отделанные изящным кантом, чистые, свежие, растягивающиеся, будто в улыбке, умоляющие, чтобы их как следует набили, законопатили, плоть эта под руками откликалась на любое прикосновение, словно угревая сыпь, несчетное множество маленьких содрогающихся хуев, разбухших и переполненных, то бледных, то смуглых, то палевых, которые покачивались, стукаясь друг о друга, просящих лишь о том, чтобы их высосали, и напоминавших Пирату о Луне и его губах, они словно бы поменялись глотками, и теперь он чувствовал, как вскипает желудочный сок, как нещадно терзает голод, язык распухает и льется слюна, брызжет изо рта так, что это уже заметно хуястому лесу, колышущемуся на ветру, который пришел ниоткуда, озаренному жаром, от которого лес этот становился еще гуще, взгляд Пирата метался туда-сюда по чаще хуев, и он не решался, чувствуя одновременно и муку, и наслаждение, не знал, какой из них заглотить первым, и в то же самое время ощутил, что и дышит он, будто Луна, что наполняющий его легкие воздух, подымающийся к ноздрям, выдыхает не он – Луна, от омерзения его передернуло, чтобы как-то очнуться, он сорвал с бедер рубашку, подпоясанные ею штаны соскользнули вниз, обнажив крепкий, накачанный кровью, подскакивающий здоровенный дрын, готовый пробить любую дыру, Пират долго стоял, занеся руку со скрученной рубахой, похожей теперь на хлыст, в задумчивости, не ударяя и смотря на улыбающееся лицо ребенка, в то время как со стороны противоположной другое, обезображенное лицо, зарывшееся в огни, плавилось и лепилось заново, воссоздавая себя в зеркальном отображении,

дабы явить Пирату сюрприз или вызвать очередное помраченье рассудка. Пират отбросил хлыст, чувствуя, что сперма вот-вот хлынет наружу, он хотел побыстрее спариться, опустился уже на корточки, чтобы осторожно перевернуть ребенка на живот, и даже не заметил при этом, что второе лицо каким-то неведомым образом преобразилось, вновь стало прекрасным и похожим на своего двойника, это было то же лицо, что несколько мгновений назад ему улыбалось, но Пирата заботило лишь одно, всунуть ребенку, расплескаться внутри, заснуть и умереть, будучи в нем, он плюнул на руки и, раздвинув ребенку ягодицы, смазал дыру слюной, взялся за хуй, который, как казалось ему, еще никогда не был таким большим и могучим, изогнулся, одним рывком намереваясь всадить дубину поглубже, и его, словно молнией, поразило сознание, что он – бог, собирающийся надругаться над сыном в жерле вулкана и кровосмешением этим переделать весь мир, сделав его миром мальчиков и мужчин, где ничего иного твориться не будет, а лишь сплошные минеты да содомия, но в этот момент ребенок под ним осыпался пирамидкой из шариков, и кишки его тоже были теперь из шариков, из студеных агатов, которые, мчась по кругу, выталкивали хуй обратно, в то время как глаза ребенка глядели на Пирата по-прежнему с неизменной улыбкой. Он попытался собрать эти шарики, разлетающиеся под его бедрами в разные стороны, соорудить из них какое-то подобие ягодиц, плеч, но они рассыпались вновь, а затем соединились в формы еще более неудобные, в кубы и сферы, грозившие его раздавить. Пират копался в золе, тело под ним

исчезло в расщелине, и он сам в отчаянии повалился на землю. Его трепали по плечу, в глаза бил свет фонаря, Волк с подельниками его отыскали и грузили теперь в заднюю часть фургона.

Пират грезил. Трясясь на ухабистой дороге, по которой его увозили все дальше от леса, он видел, что лежит в гамаке, куда его уложили, постелив, чтобы было помягче, одежду, Волк снял кафтан и, свернув, сунул ему под голову, так удобнее попить свежей воды, Малютка просунул его смазанные маслом и посыпанные тальком руки в штанины и стал массировать ноги, Перо снимал мерки, собираясь сшить из плотной ткани голубую пижаму с белой отделкой, и все они сменяли друг друга у его ложа, вслушиваясь у самого рта в лихорадочный шепот и передавая его друг другу, толкуя, пытаясь усмотреть в бреду что-то внятное, какой-то приказ, которому должны подчиниться. Они сложили к его ногам деньги, полученные от сделки, чтобы он самолично их роздал, отчитав тех, кто ненароком пропил большую часть выручки. Мешки в ряду, предназначенном для взрослых, болтались пустые, он собирался повесить на стене карту метрополии, обозначив, в каких районах следует совершать новые набеги, собирался поторопить их, чтобы они отправились на разведку как можно быстрее, ему не терпелось побыть в одиночестве. Однако, весь подвал теперь был ярко освещен, Пират сидел в кресле главаря, скрученный электрическим проводом, в лицо ему светила лампа, а четверо негодяев, сидя напротив на табуретках, выкладывали на стол, словно производя

опись, кусачки, которые прежде совали в детские глотки, иглы, которыми наносили татуировки, бритвы и машинки для стрижки волос, кульки с порошком, предназначавшимся для выведения лишая, и каждый в поднятой руке сжимал оголенный кинжал. Волк взял слово, указывая на коробку с металлическими номерами: «Мы должны выбросить второй номер! – сказал он. – Он – самый дурацкий, хотя мы и представить себе не могли, что именно он заколдован. Видимо, поэтому он и принес нам столько несчастья, сначала из-за него свихнулся Луна, потом он достался паршивому близнецу, и тогда спятил ты, Пират. Теперь даже нельзя сказать, что №2 в лесу помер в огне, может, он направился куда-то еще или убежал из леса, пока мы ехали. Надо избавиться от этого номера, достаточно только изменить нумерацию, будем использовать «1 bis», или просто будем начинать с цифры «3», надо сейчас же выкинуть все мешки с двойкой; я прям чувствую: если в подвале останется что-нибудь с цифрой «2», какой-нибудь ребенок под номером «2», если останется у кого-нибудь цифра «2» на лбу или на губах, мы снова угодим в ловушку проклятого числа, и тогда попадешься ты, Петрушка, или ты, Малютка, или я, тогда я буду сидеть тут перед вами на месте Пирата, тогда меня будут допрашивать и пытать перед тем, как швырнуть за буйки, куда уже бросили Луну и Пирата! Так ведь, Пират?! И я надеюсь, что под водой ваши с Луной скелеты отыщут себе по хую, чтобы препираться там с ними и без конца сосаться, иначе что там еще делать, правда, Пират?» Мерзавцы были готовы уже залаять, настолько эта пародия на судебное разбирательство их возбуждала. Они уже приготовили кляп и сетчатый шлем

из свинца, но прежде, чем водрузить его Пирату на голову, они хотели кое-что у него выведать. Волк спросил первым. Пират, застонав, ответил: «Из-за вас я поверил в призраков».

II

Предаться мальчишеским играм
все равно что волком улечься на ложе,
выстланном увядающими цветами[3]

3 Цитата из стихотворения Ихара Сайкаку (1642–1693).

Микки искал по всему дому крахмал. Он разгладил материнский корсаж и, поскольку ничего клейкого не нашел, вымочил его в рисовом отваре, пытаясь придать нужную форму. Верхнюю часть, поддерживающую грудь, он как следует отбил молотком и теперь она лишь отдаленно напоминала, чем была прежде; он решил, что может укрыть все это какой-нибудь тканью, к примеру, парчой. Он перерыл всю лачугу, но парчи не было и в помине, клея и лоскутков, рваной ветоши – тоже, он собрался потереть рукава напильником, ошметки он соберет и налепит на мокрый лиф, а потом повесит сушиться, спрятав добычу в подвале. Но все это надо еще выкрасить, клочья его одежды все вымазанные да серые, ему же хотелось чего-нибудь яркого, он сказал себе, что отправится в церковь и ограбит какую-нибудь статую, вырежет из убора роскошнейшие кусочки, полоски муара и прикрепит к собственному костюму, если ему, конечно, свезет: он был готов на дикие вещи, чтобы как-то расцветить свой хлипкий трофей. Когда корсаж затвердел, он принялся думать, чем же его набить и чем после укрыть. Меч, на который он его насадил, чтобы теперь корсаж мог держаться, был картонным, и он сказал себе, что пора заменить его мечом настоящим, из благород-

ного металла, он даже готов такой украсть, если потребуется, или же уложить дражайшего господина, чтобы присвоить его оружие. Но первонаперво он соорудил себе болеро из кучи страниц, вырванных из редких фолиантов. Господин надарил ему книг, чтобы нерадивый безграмотный ученик узнал что-то новое, но тот бумагу измял, удобрив ее плевками, пенящимися от страшного гнева и гораздо более клейкими, чем какой-то крахмал. Он завязал тюк из куска клетчатой бело-коричневой ткани, похищенной несколько месяцев назад, когда с нетерпением уже готовился к побегу. И, думая, что его никто не видит, отправился в путь. «Вначале, – сказал он себе, – нужно пополнить скарб, раздобыть подтяжки и штаны, которые я еще не успел измазать дерьмом, а еще – кусок фетра, чтобы укрыть промежность, на которую вечно таращится брат, пуская слюну и падая на колени, склонив башку, хотя я даю ему лишь понюхать, а то еще этот обожатель пресытится!»

Отец до смерти избил Микки, застав его в грязище на корточках, согнувшимся в три погибели, всего в соплях, без трусов, выделывающим омерзительные акробатические номера, пока, хлюпая губами и клацая зубами, чтобы ощутить вдобавок ко всему еще и вкус крови, он постанывал, словно его ласкала при этом мать, и вовсю сосал свой вонючий хуй. Первым же, кто стал домогаться его причиндалов, был брат – Радиатор. Хуй у него был, словно магнит среди тех трущоб: псы чуяли его еще издали, девки вечно косились, и даже грязь без всякой на то причины вдруг выпрыгивала из луж, чтобы прилепиться к

ширинке, ткань, облегавшая сам прибор, распадалась от желания, и вся одежда вечно слезала вниз, поближе к бугру на брюках, куртка и рубашка сами расстегивались, дабы, обнажив тело, скомкаться, свернуться там, где яйца, но больше всего нравился он моче, которая била, извиваясь и разряжая набухший шланг, и капельки текли по залупе, оставляя копившиеся следы выделений, похожие на крошечные гранулы соли, и слизать их могло быть дозволено лишь языку брата, когда-нибудь, когда настанет тот день, и сперма также ждала своего часа, обожая хуй, который поклялась себе наполнять беспрестанно, чтобы все поклонялись ему еще пуще. «Для твоего удава нужно соткать одеянье из света, – сказал Радиатор Микки, – чтобы был он невидимым центром, чтобы был на нем тайный убор, золотой раскладывающийся футляр, я сам сошью его для тебя и один буду знать, когда поведешь ты войска, что все пришли поклониться твоему божественному орудию!» Радиатор купил блокнот, чтобы рисовать хуй брата и вспоминать о нем, когда брат отправится по дорогам, он рисовал его то большим, то маленьким, плененным или выпущенным на волю, меж губ оголодавших детей или орошающим оскал старика, летящим на крыльях, больным, сочным и пышным, скрестившимся с чьим-то другим, затапливающим его теплым потоком. «Но я не пущу тебя одного, – сказал он Микки, – я буду твоим оруженосцем!» – «Значит, ты будешь идти позади меня, – ответил Микки, – и на таком расстоянии, чтобы никто не догадывался, что мы братья!»

Как-то раз к Микки подошел человек с котомкой и палкой, которую перекидывал с плеча на плечо, на конце болтались мешочки из веточки. Ехидно осклабившись, он хотел ему что-то продать и открыл плетенку: внутри мерцали, переливаясь, белые предметы, покачивавшиеся в ароматном желе. Притворщик сказал, что зовут его Бобо и что он принес эту коллекцию драгоценных фарфоровых шариков из Китая, он осторожно взял один из них, словно то была сладость, и поднес ко рту Микки, проговорил: «Попробуйте, в достоверности такого фарфора можно убедиться, лишь отведав его на вкус, пусть он повертится у вас на языке, но не разгрызайте, а тот сломаете зубы!» Микки подумал, что может поторговаться, если шарик действительно такой ценный, и выменять его чуть погодя на какое-нибудь украшение с его костюма. Пленительная вещь проскользнула в рот, остатки конфитюра быстро исчезли, и язык почувствовал превосходную гладкость, теплую и ласкающую, усеянную будто мельчайшими сосудиками и напоминавшую разломанный пополам плод, так и просящий, чтобы им полакомились и вызывавший слюну, которая словно уже начала его расщеплять, настолько Микки был голоден. Коробейник вовремя спохватился, подставив ладонь, чтобы он выплюнул шарик: «Прекрасный фарфор, правда?» Но шарик или раствор, в котором он плавал, казалось, совсем опьянили Микки, а у него не было даже су, и он мог лишь украсть или выменять шарик на ничтожный пустяк из одежды, однако он пустился в расспросы, выведывая, может ли взять шарик себе. Бобо, знавший, что ему потребуются долгие месяцы, чтобы собрать новую котомку или разжиться чем-то еще, запо-

дозрил неладное: «А чем ты вообще занимаешься?» – спросил он Микки. «Хожу по дорогам в надежде встретить экипаж великого инфантеро и наняться к нему в квадрилью!» – «Хочешь стать одним из них?» – спросил Бобо у Микки, меряя его взглядом. «Держись-ка ты от детей подальше, – добавил он, – я их хорошо знаю, в детском плевке – это всем известно – содержится яд, если он попадет тебе в рот, ты скопытишься! Но бывает и хуже, ты ведь в курсе, от чего погибло больше всего инфантеро? От детского взгляда! Если ребенок взглянет на тебя в момент, когда ты его убиваешь, тебе тоже крышка! В этом взгляде – такая тоска, что сводит с ума, вот где самая-то отрава, разумеется, вырабатывается она железами, что располагаются у них во рту, еще ее можно обнаружить, к примеру, под мышками, а химики вот-вот откроют формулу средства, способного уничтожить проказу в тот самый момент, когда слюна попадает в кровь, однако настоящая же зараза, клянусь тебе, кроется в самом взгляде, поэтому никогда не смотри на умирающего ребенка! Уж я-то детей знаю…» – «Как это так ты их знаешь? С чего бы?» – спросил Микки, испытывая невероятный интерес к коллекции проходимца и норовя открыть плетенку, запустив в нее руку, чтобы вновь прикоснуться к фарфору, перекатывая его в липкой жижице. – «Так уж случилось, – парировал Бобо, напустив таинственный вид и сразу переходя к другому, – коли тебе взаправду понравился мой фарфор, я тебе покажу и, поверь, такой шанс предоставляется не каждому встречному-поперечному!» Он поставил корзинку на землю и принялся высвобождать палку, крепившуюся к воротнику специальной веревкой: «Вот, если

умеешь считать, – молвил Бобо, – их тут двенадцать мешочков из моей коллекции, от которой я собираюсь избавиться, когда повстречаю монарха или безумца, способного все это у меня забрать, сейчас покажу тебе одну штуку». Он аккуратно развернул тряпицу, в которой был спрятан шарик, с того по капле стекала зеленоватая и еще более пахучая пена, которую Бобо сразу же старался собрать тряпкой: «Их нужно держать на холодке, иначе они попортятся или высохнут, – это что-то нереальное, правда? Вот этот я взял у ангела, ты смекаешь? Рядом – фарфоровый шарик одного чудотворца, третий принадлежал сыну принца или, скорее, то был магараджа, поскольку я раздобыл этот шарик в Индии, ты все еще не смекнул?» – Бобо расстегнул кафтан, демонстрируя целый набор инструментов, крепившихся на широком, во весь живот, поясе, и принялся показывать каждый в отдельности: разные кинжалы, скальпели – этот закругленный, тот удлиненный. «Я работаю на оперных мастеров, на преподавателей совершенно особых предметов и на странных людей – анорексиков, которые могут насытиться, лишь беря в рот такие вот личи, а еще я работаю на инфантеро, они – мои поставщики, а я могу быть поставщиком для них, поскольку и среди них есть такие, что порой испытывают приступы невероятного голода, теперь тебе ясно?» – Микки ничего не ответил, отупев от прилива тошноты, который никак не желал проходить. Бобо не выдержал, громогласно расхохотавшись: «Ты что ж, еще никак не просек? Я – кастролог! Но я не торгую фарфором с такими простаками, как ты. Я – кастролог, поэтому-то меня и зовут Бобо, потому что я делаю иногда больно… Когда кастрирую, но

не черных свиней, не уистити и не муравьедов, – мотай на ус, – твой фарфор меня не интересует, не такой-то он свежий, чтобы меня соблазнить!» И Бобо, хохоча, пошел дальше, Микки же стало ясно со всей очевидностью: его так и не вырвет, потому что в желудке совсем уж пусто!

Пейзаж был окаймлен зеленью, от самого светлого ее оттенка до самого темного, и напоминал высокие театральные декорации, меж которых вдруг простиралась пропасть. На волнистой линии горизонта вилось нечто белое, вращалось там по спирали, неистовствовало, благодаря смещениям воздуха, кружила какая-то белая пушистая кисейная сфера, беспрестанно всасывая в себя потоки пыльцы, уносящиеся прочь целыми облаками. Микки пустился бежать по склону, удаляясь от дороги, где мерзкий хохот кастролога уже стих. Он перешел на шаг, двигался быстро, не оборачиваясь, голод свирепствовал, приводя в отчаяние, напрасно он говорил себе, что через несколько минут тот утихнет, тешил себя иллюзиями, что вот-вот появятся новые силы и идти станет гораздо легче, он заставлял себя шагать, представляя покрытые хрустящей корочкой и сочащиеся жиром яства, поджаренные куски мяса. Успокаивал себя, думая, что не может быть тут совсем один, что Радиатор пошел за ним, как и обещал, или, можно сказать, грозил. Он страстно желал, чтобы брат явился ему на помощь. Глядел во все стороны, звал повсюду, сложив руки у рта, обшарил глазами заросли волнуемых ветром кустарников, пытаясь различить, не мелькнет ли силуэт человека, не успевшего спрятаться. Но

Радиатора нигде не было. Микки вспоминал, как ловко брат каждый раз угадывал, где именно спрятан хрен у него в штанах, когда Микки забавлялся, зажав тот меж ног или скрыв под складками ткани, и всегда брату удавалось сделать так, что хрен вставал, одной силой взгляда, которую он мог бы с легкостью проявить и сейчас, вдруг обнаружив среди пейзажа на расстоянии вытянутый руки огромный и спелый фрукт или высунувшегося из норы крота, подставившего спинку, чтобы ее поджарили. Но Радиатор не отвечал на крики. Быть может, он хотел отомстить за побег и появиться в решающий момент, когда сил уже не останется. Микки замер на самой вершине, белая сфера закрывала обзор, держась на расстоянии, она застилала взгляд, вызывая мучительное покалывание в глазах и носу, Микки боялся этого шара, он заметил, что цветы вокруг вовлечены в игру стихий и сражаются, отбиваясь венчиками от усталых стеблей, чтобы первыми унестись прочь, присоединившись к воздушному вихрю. Микки дважды закрыл глаза, пытаясь удостовериться, что все происходит на самом деле: в центре шара появился бурый медведь, он метался, стараясь удержать равновесие и стоя на задних лапах, передними атакуя кисейную поверхность сферы и стараясь ее разодрать, он ворчал, пыхтел и гневался. Микки отступил назад, готовый уже схватить узел, брошенный было на землю, чтобы немного прийти в себя перед облаком белой пыли. Бояться ему не стоило: медведь был в намордник и на позвякивавшей цепи. Когда медведь приблизился, опустившись на все четыре и топча вращавшуюся спираль, позади снова все прояснилось и стал различим смуглый человечек в мягкой шляпе на

голове и с тоненькими черными усиками над узким ртом, чем ближе он подходил, тем яснее виделось, насколько он молод. Вот он дернул за цепь медведя, пустившегося было в пляс перед Микки. Человечек, похожий по голосу на цыгана, завопил на зверя: «Болван! Ты же видишь, какой он бедный и голодный! Сто раз тебе говорил, нечего плясать, коли не слышишь бубна! Разве я сейчас бил в бубен?!» Медведь, раскаиваясь и стеная, повалился в ноги. Цыган тащил за собой на колесиках маленькую кибитку, в которой валялись тромбон, две шляпных коробки и жестяной котелок. «Меня величают Украдкой, – проговорил человек. – Здравствуй! Вижу, ты проголодался, мне знакомо, что это такое, узнаю по признакам на лице, особенно, когда из-за гордости хочется это скрыть, я много раз рассматривал черты голодного человека в зеркале, чтобы научиться ими пользоваться и просить милостыню, я – артист, иначе говоря, – мим, а ты чем занимаешься? Расскажи немного о себе, но прежде давай я тебя накормлю, извини, что не стану есть вместе с тобой, я уже подкрепился в харчевне, где снял угол, ты разделишь еду с медведем, сегодня воскресенье, по воскресеньям у него право полакомиться чем-то еще, кроме опарышей с льнянкой или пюре из крыс, которых я мастерски умею ловить, и не стоит воротить нос от миски, я часто ее мою, а медведь у меня обходительный, так что бояться тебе нечего… Видишь мою шляпу? Медведь тоже ее носит, когда участвует в номере, и никаких средств от блох нам не требуется, поскольку голова у меня бритая…» Человек хлопнул резинками, державшими крышку на котелке, давая Микки вдохнуть аромат пайка, которым

обходительный зверь был готов поделиться. Быть может, Микки был не такой уж голодный, поскольку он скорчил гримасу. «Говорю ж тебе, это вкусно, – сказал Украдка, – клянусь, это не крысятина!» – «А что же?» – спросил Микки. «Сказал же, что вкусно, чего тебе еще нужно!» – отрезал человек. И нагнул медведю голову, чтобы он тоже попробовал. Этот спектакль забавлял человека, он так его очаровывал, что можно было подумать, будто цыган бродит по дороге с медведем с единственной тайной и непреклонной целью: смотреть, как склоняются над тухлятиной голодный юноша с нежным ртом и медвежья морда с кольцом от цепи, вся перемазанная омерзительными слюнями, от которых исходит отдающая мускусом вонь. «Ну что, теперь, когда ты подкрепился, расскажи, чем занимаешься или чем хочешь заняться?» – спросил Украдка. «Собираюсь стать инфантеро», – ответил Микки. – «Что за странная мысль! А с чего бы это?» – продолжил цыган. «Такая уж у меня страсть!» – парировал Микки, мысли которого вроде бы прояснились, но после внезапного насыщения стали блуждать во сне, устремляясь то к поросшему шерстью брюху животного, то к толстой руке цыгана, принявшегося его как-то странно поглаживать. «Это страсть, – повторил Микки, – которую я испытываю с самого детства». – «Что ж, расскажи мне о ней», – попросил Украдка, привлекая его к своей груди. И Микки дремал, чуть смежая веки, с приоткрытым ртом, откуда исходили довольно-таки сложные длинные фразы. «Я вижу их с самого детства, – продолжал Микки. – Я вижу их с тех пор, как сам был ребенком. И с тех пор, как я стал собой, они не обращают на меня внимания. Я повсюду их

вижу, даже тогда, когда их нет, когда я сплю, с чего же мне прогонять их теперь? Они заполняют все мои сны. Я повсюду вижу детей, они всегда рядом, они прыгают на меня откуда-то сверху, падают с крыш и с неба, пытаясь меня поразить, уложить на месте; когда идет снег, то это хлопьями осыпаются дети, царапая порой мне щеки; когда раздается гром, то это они вздыхают; когда идет дождь, то это они поливают меня мочой и слезами. Они столь же бесчисленны, как и тля, и прекраснее, нежели светлячки, они летают по воздуху, порхают перед моими глазами, умоляя взяться за меч. У меня еще нет всамделишного, мой меч из картона, но однажды у меня появится настоящий и я проткну их насквозь взаправду. А пока я учусь делать выпады, тренируюсь с куском картона, любая серая тряпка в моих руках становится розовым или фиолетовым плащом, который я кидаю в лицо ребенку, радостно пританцовывая рядом, и мне наплевать, что это всего лишь ветер, он все время противится, стоит мне завидеть хоть какую рубашку – и это снова ребенок, и я свертываю газету, чтобы нанести удар, быть может, я всего лишь ударяю по стулу, но в этот момент я знаю, что у стула есть сердце, которое бьется. Когда-нибудь я сделаю манекен, который стану всюду таскать с собой, а пока начну искать псов, котов, кур, всякую домашнюю птицу, которых буду одевать, чтобы они хоть как-то походили на детей, или просто буду называть их детскими именами, пусть они пыжатся и расправляют крылышки, пусть пес или кот от меня удерут, тогда я смогу погнаться за ними, поймать и как следует наказать. На самом деле я уже давно стал инфантеро, каждое мгновение жизни я – инфантеро – когда

хожу, когда ем, когда открываю дверь, в тишине...» Микки проснулся, он лежал на подстилке из папоротника. Медвежий вожак ему не пригрезился – Микки в самом деле был сыт, цыган ушел, оставив у него под рукой на груди записку с каракулями: «Ты двинутый на всю голову! Что-то в тебе есть такое. Искра какая-то. Ведь так говорят о тех инфантеро, у которых особый дар? Ты и правда станешь одним из них! Быть может, станешь даже великим... В твой левый карман я положил клок шерсти от моего медведя, храни ее, она принесет удачу! Твой друг Украдка».

Микки добрался до главной дороги. Не прошел он и мили, как увидел, что на проселочных тропинках меж зарослей маячат береты, движутся они вначале поодиночке, затем сходятся в группки по три или четыре, мелькают канотье с черными лентами, вот стали различимы и лица – мятые, неприветливые, – должно быть, это местные крестьяне; вот стали различимы фигуры, видно, что руки у них дрожат, в руках колышутся веточки розмарина или белые платки; большие, мозолистые и растрескавшиеся руки вздрагивают, пытаясь поймать друг друга; чаще это были мужчины, тоскливые старики, лишь изредка возникала меж ними на склоненной главе мантилья, скрывающая лицо, которое, как угадывалось, заливали слезы; все шли вперед, порой останавливаясь, разбившись на две колонны по краям дороги, Микки догадывался, что означали вычурные траурные одежды и движения сложенных в мольбе рук: накинутые второпях бедные воскресные костюмы, жалкие обтрепанные черные галстуки,

болтающиеся на костлявых шеях, словно веревки висельников. Но дорога оставалась пустой до самого горизонта, куда устремлялся взгляд, чтобы там замереть. Мужчинам и нескольким женщинам приветствовать было некого. Некоторые горевали, силясь сдержать стоны; были такие, что принесли с собой джин, одни передавали свою бутыль по кругу, другие держали бутыль закрытой, вцепившись в нее руками; никто особо не шептался; но попадались такие, что вдруг начинали смеяться без всякого стеснения, как слабоумные, монотонно напевая себе под нос, некоторые чертыхались, вопя кто во что горазд и отсылая остальных к чертовой матери и ебене фене. Все чего-то ждали. Но Микки никак не мог понять, чего именно. Он подобрался к одному мужику, который отошел от своих, что оказалось теперь не так-то просто, поскольку народа везде уже было полно, и стоял, приклеившись ухом к маленькому приемнику. Но вместо того, чтобы ответить, мужик разбушевался, проклиная радио, по которому передавали сплошную чушь; именно оно стало причиной этого нелепого собрания, пора было признать со всей очевидностью, что смотреть тут не на что. «Но что именно вы собирались увидеть?» – отважился спросить Микки. «Машину скорой помощи!» – ответил мужик. – «А хуже всего, – продолжил он, – что мы даже не знаем, жив ли он или умер, или, быть может, его удастся спасти, правду от нас скрывают, но это потому, что слишком много стоит на кону, понимаете, о чем я?» – «Нет», – ответил Микки. «Погодите, погодите! – продолжил мужик, начав вдруг махать руками, указывая на радио, словно требовалось проделать акробатический фокус, чтобы приемник

выдавил из себя ложные сведения. «А, ну да, погодите, появились какие-то новости… Ешкин кот, я так и знал! Мы не на той дороге! Нам сказали идти на восьмую, а «скорая помощь» проехала по двенадцатой; сказали, что она появится не позже, чем через полчаса, а на самом деле, когда это говорили, она уже проехала четверть часа назад… сраный сигнал доходит сюда слишком поздно… но мне пора успокоиться: даже, если бы мы пошли на двенадцатую, то все равно не увидели бы «скорую помощь», такова уж судьба; вы верите в судьбу, молодой человек? Нет, не верите в судьбу? Не хотите отвечать? Тогда проваливайте! Пристали со своими дурацкими вопросами! Мешаете мне слушать новости, если я не буду их слушать, то кто же будет? Пусть они и ложные, но все же кое-что сообщают… Видите здесь еще у кого-нибудь радио, нет, так что вот!» Но Микки уже пошел дальше, к другой группе, где еще ничего не знали и ждали «скорую помощь». Здесь говорили странные вещи, толковали о каком-то человеке, начиная из обрывков слагать торжественную легенду. «Я знаю, что он родился прямо на улице, – говорил один, – возле газоперерабатывающего завода, я где-то читал об этом». – «Он никогда не улыбался», – говорил второй. «Или никто не видел, как он улыбался, – продолжал третий, – но известно, что он хохотал и выл над ребенком, когда наступал момент казни». – «Главное, он умел нравиться женщинам, что не удивительно: взгляд у него был дьявольский!» – начал спорить противник. «А вы знали, что в тринадцать лет его ранили в пах, только с одной стороны, но какая разница? И он это скрывал, заплатил баснословные деньги, чтобы это вычеркнули из его биографии», – блес-

нул знаниями какой-то пройдоха. «Рассказывают, что он хотел все бросить и уйти в доминиканский монастырь!» – прорезался первый. «Какой прыткий! Хотел бы я на него посмотреть!» – осклабился недоверчивый. «Знаете, может, все это не так уж и странно, – проговорил один из сплетников, – был уговор, что его место займет оруженосец». – «А жена?» – спросил кто-то. И послышалось: «Первая или третья? Вторую-то он убил!» На это ответили: «Да речь о законной, о той певичке!» Пересуды, носившиеся вокруг, убаюкивали, пьянили Микки, ему казалось, что все это говорят о нем, что это его чествуют такой беспросветной ложью. Он пошел послушать, о чем толкуют в следующей группке. Но тут языком не чесали, довольствуясь, что можно печально глядеть на дорогу, взмахивая веточкой розмарина или белым платком в том направлении, куда должна была промчаться «скорая помощь», хором затянув: «Ин-фан-те-ро, ин-фан-те-ро!» Микки понял: совсем недавно нанесли смертельную рану великому инфантеро, здесь все называли его «выдающейся личностью». Что же, виной тому взгляд, о котором упоминал Бобо? Или все дело в яде, об опасности которого всем известно? По-видимому, говорили тут о Каймане – именно так именовал себя инфантеро – рассказывали, что порой он нападал, подползая на животе. Микки никогда не слышал такого имени в перечне героев пантеона, которым он поклонялся. Быть может, инфантеро становился повсеместно знаменитым лишь тогда, когда ему угрожала смерть, когда его побеждал ребенок, заслуживший пощаду?

Такими детьми восторгались, осыпая похвалами еще бóльшими, нежели тех, кого они отравили, когда же те умирали, их хоронили с великой помпой. Микки был опьянен известием о неизбежной скорой кончине, он ощущал особую радость и легкость, почему – он не знал, но не испытывал никакого стыда, ему слышалась музыка. Расходиться присутствующим не хотелось: все уже поняли, что у них нет шанса увидеть несущуюся мимо машину «скорой помощи», но они растерялись и никак не могли представить, что произойдет дальше и чем им теперь заняться. Музыка слышалась, поскольку, оказывается, кто-то играл на бандонеоне: к дороге на веревке волокли отбрыкивающегося дурака, на него напялили бедное сверкавшее одеяние, оно было ему мало, злобные провожатые заставляли его плясать джигу, грозя обстрелять по ногам из рогаток. Завидев эту латаную-перелатаную, но светящуюся одежду, под которой серела дряблая плоть, – вероятно, когда-то это было красивое детское платьице, – Микки понял, что так воодушевляло его в известии о приближающейся смерти: костюм покойника. Хоронить великих инфантеро в их блистательных одеждах слыло делом чести. Микки решил, пробираясь от группы к группе, выведать, как называется и где расположено кладбище. Оглядываясь по сторонам, опьяненный уверенностью в своем предприятии, Микки впервые в жизни смотрел на окружающую его местность так, словно хотел все присвоить: он сам – живой – стоял посреди долины, поросшей оливами и дубами, кое-где виднелись стога, под ногами валялись куски древесного угля; в загоне

неподалеку грудой лежали, похрюкивая, черные свиньи. Микки возблагодарил небо, что не родился одним из них.

В сумраке, укрывшем кладбище святой Риты, выделялись два барочных мавзолея. Ворота стояли закрыты, Микки дважды прошел вдоль ограды и влез на мусорный бак, чтобы пробраться внутрь, суму повязал на поясе, побоявшись, что спрячет ее в укромном месте, а потом не сможет найти. Вокруг царило спокойствие: шарканья и стенания, раздававшиеся во время церемонии, скрежет гравия под шинами больших черных автомобилей, которые привезли и ждали распорядителей и служителей культа, вспышки фотографов, протесты зевак, которых теснили жандармы, – все стихло. Очень скоро Микки отыскал то место, куда так стремился, и вел его не запах вскопанной свежей земли, а женский голос, исполняющий размеренное ламенто, в котором чередовались рыданья и вздохи, оно то прерывалось, то слышалось вновь, превращаясь то в речитатив, то в скорбное пение, которое вдруг смолкало, поскольку исполнительница стыдилась, насколько у нее получалось красиво. Микки не потребовался украденный фонарь, так как место погребения освещал лунный свет. Увиденное остановило Микки, он юркнул за ствол кипариса. Голос принадлежал длинной фигуре в черном, голову и плечи еще можно было различить, но все остальное скрывал траур, она ползала там, копошилась, словно рептилия, в нагромождении белых цветов, стремясь к холодному голому камню, спрятанному

внизу, чтобы, прижавшись, ласкать его, ластясь всем телом, как большой черный червь, прокладывающий себе ход. Она зарылась в удушающий ворох магнолий, гардений, и Микки понял: если она так настойчиво, ожесточенно копалась там меж стеблей, то без труда одолеет и мрамор, чтобы вновь сочетаться с осеменявшей ее плотью. У него появилась соперница. Быть может, под черным одеянием фигуры, похожей на веретёнце, скрывался мужчина, который специально пел свои ламентации фальцетом? Микки удалось разобрать одну из фраз: «Мой боже, теперь ты остыл, ты совсем холодный, – стонала самая настоящая женщина, – дай мне тебя согреть!» Вдали послышался бой часов, и укутанная в траур любовница так быстро исчезла в тени часовни, что Микки задался вопросом: не встретил ли он наконец настоящее привидение? Он думал, что остался один, следовало быстро обтяпать дельце до того, как начнет светать, он снова сильно проголодался, уже не считая, сколько ночей не спал, держась на ногах лишь благодаря своему жгучему желанию. Он нащупал в темноте железный прут, которым была приперта дверь закутка с водой для полива и нагромождением леек, – тот мог легко сойти за рычаг, – и поспешил к могиле: он собрался без колебаний приступить к делу, расшвыривая направо и налево горы цветов, чтобы расчистить место, но заметил вдруг, что белые трепещущие цветы, раздвинутые на оголенном камне, в точности очерчивают силуэт ползавшей там фигуры, облаченной в скорбное платье; и вся картина, похожая на смазанный фотографический снимок, при таинственном свете луны и легком ветерке, колышущем лепестки, вызывает в нем любовную

дрожь. В то же самое время на теле, будто татуировка, начали проступать буквы, образующие на груди славное имя Каймана. Микки не решался нарушить сложившийся в цветах контур и прильнул к нему ближе: в том самом месте от камня исходил иной аромат, нежели от гардений, он кружил голову. От запаха женских чресл член сразу набух. Микки почувствовал, как возвращается медведь, крутившийся в недрах кисейного шара, тыльной стороной руки он стер проступившие буквы и плюнул на камень. Теперь можно было приступать к работе. Но за спиной послышался обходительный голосок: «Мы тоже решили навестить Каймана?» Микки обернулся: тыча в его сторону пальцем, к нему обращался плешивый низенький человечек в перемазанной землей хламиде, украшенной внизу остатками полосатой юбки. «До тебя здесь побывала жена Каймана, – продолжал он, – но для того, чтобы принести свою дань уважения, нужно поделиться еще с господином Мумией, могильщиком данного царства, зазноба Каймана это сразу же просекла, я таких дамочек знаю, они приходят каждую ночь, а потом однажды вдруг пропадают и никогда не возвращаются, потому что нашли для себя новый источник, где можно погреться, что ж – таковы женщины! У каждого – свои причины, я их не осуждаю и даже не хочу знать, каковы причины, заставившие прийти тебя, однако я жду своей доли!» – «У меня ничего нет!» – закричал Микки, надвигаясь на человечка и грозя его отметелить. «Ну-ну-ну! – запротестовал Мумия без тени страха, – тебе это будет стоить два су». – «У меня их нет!» – воскликнул Микки. Мумия наставил на него железный прут и сказал: «Ты не первый доходяга, который

пытается что-то тут провернуть, вертелись уже двое, еще до плакальщицы, как стемнело, явятся и другие, но, если ты сейчас все обчистишь и газеты о том не расскажут...» – «Ты чего это? Ты о чем это?!» – спросил Микки. «Да о том, что нам с твоими коллегами договориться не удалось, – продолжал Мумия, – не договорились о дележе, а ты ж меня видишь – у меня нет ни револьвера, ни машикули, в отличие от них, можно сказать, я – эктоплазма, однако я тоже могу как следует рассердиться! I would prefer not to you know what! Можешь мне верить, те быстренько отсюда убрались, так что давай обсудим, да?» – «Да о чем вы вообще говорите?» – закричал Микки, которому становилось уже страшно жутко. – «Его зарыли в одежде, – родственникам пришла в голову отличная мысль! – золотых зубов у него нет, так что молоток не потребуется, а вот пуговицы у Каймана – это все знают – из настоящих рубинов! Тринадцать маленьких рубинов – вот здесь, где застегивалось болеро над бедрами этой разукрашенной шлюшки, и еще ниже, на поясе, – вон, где ему отрезали яйца, – тринадцать маленьких рубинов, можешь себе представить? И, если они не окажутся теперь же в наших руках, то через час, если к тому времени еще не рассветет, или завтра вечером, как только я закрою ворота, их достанут другие воришки, более предприимчивые, чем я. Мой дорогой, надо сейчас же обчистить эту могилу! Ты въехал? Так что приступай, можешь вытворять с ним все, что угодно, я сделаю вид, что не видел, обтяпывай свое дельце, я тебя не сужу, у тебя на лице написано: вон, над губой слева, – да и взгляд такой, будто ты не понимаешь, о чем я тут болтаю, – у тебя на щеке знак, ты весь томный

какой-то, видно, что у тебя свои счеты с Кайманом, но не возись с ним слишком уж долго и особо не нежничай, а то забудешь еще о моих рубинах, и в следующий раз, когда мы увидимся, отдашь их мне, все тринадцать, тогда я позволю тебе уйти, а завтра опишу полиции тех, кто болтался здесь до тебя, идет?» Мумия насильно всунул железный прут в руки Микки и толкнул его ближе к могиле. Затем испарился. Под каменной плитой, сдвинутой при помощи железяки, открылась яма, похожая на сундук с сокровищами, куда Микки прыгнул, оказавшись по самый живот в земле: среди цветов и глины мертвецу накидали множество причудливых даров, – тут были черные очки, губка, звездочки из фольги, туалетная бумага, накладные носы, расчески, флаконы с духами, – добра хватило бы на целую тачку, Микки вышвыривал все это из могилы, чтобы избавиться от ненужного хлама. Внезапно что-то зашевелилось среди земли в большом свертке – там оказался весь измазавшийся и перепуганный белый кролик, его принесли в жертву никудышному фараону, он мгновенно выскочил из свертка, только его и видели. Микки скоблил, скреб, выбрасывал землю горстями, надеясь, что скоро появится уже гроб. Внезапно от почувствовал, что скребет ногтями какую-то ткань: гроб накрыли флагом. Было темно, и все же Микки показалось, он различает оттенки – темно-розового, ближе к гранату, и голубого, похожего на прусскую лазурь, – он не знал, какой стране мог принадлежать флаг подобных оттенков, он взялся за нож и начал кромсать ткань, та разодралась, обнажив лакированную поверхность, да такую большую, что никак не удавалось распознать, где у нее края, словно это

была еще одна плита, которую опустили уже в землю. И вскрыть ее железякой уже никак не получалось. Тогда Микки встал и саданул ею со всей силы посередине, словно в руках у него был лом. Он бил и бил, разнося дерево в щепки, и вот показалась рука, затем вздутое и потемневшее лицо. Однако пробитые отверстия были слишком малы, чтобы вытащить целиком все тело или раздеть его, не вынимая из ящика. Микки сунул железный прут с той стороны, где была голова, и, рискуя ее повредить, как следует поднажал. Крышка подалась, сам Микки отлетел при этом назад, и перед ним в то же время предстало целиком все тело усопшего. Погребальный убор теперь Микки уже не интересовал. Он глядел только на это замкнутое лицо, склонившись и вопрошая его в тишине, казалось, целую вечность. «Как ты это делал? – спрашивал он его. – Ты смотрел на ребенка? Или старался скрыться от его взгляда? Ты долго вокруг него танцевал? Или старался замереть, очаровав этим ребенка? Что именно ты вытворял? Какими правилами пренебрег, чтобы он отправил тебя в мир иной?» Кайман молчал: он не хотел выдавать секретов – ни тех, что приводили его к победам, ни тех, что могли рассказать о фатальной ошибке, – особенно самозванцу, который перешагнул через него и из чистого любопытства бессовестно уселся у него прямо на животе, давя всем весом на солнечное сплетение и угрожая задушить таким образом во второй раз, теперь уж ногами, которые он все сильнее сжимал с каждым вопросом. Каймана подкрасили, поверх макияжа была зеленоватая, почти фосфоресцирующая слизь. «Ответишь ты мне или нет, размалеванная старая кукла?! А ты, Мумия, – кричал

Микки, высунувшись из могилы, – ты скажешь мне, какого хрена напялил на себя юбку?» – Могильщик в ответ лишь захихикал где-то вдали. Микки схватил Каймана за плечи, и у того изо рта потекла струйка синеватой жижи, попавшей Микки на щеку и обдавшей его холодом. Он обнаружил, что голова инфантеро лежала в черной луже, где извиваясь и заползая в волосы, копошились опарыши. Микки просунул руку пониже, чтобы проверить, все ли тело перепачкано грязью: одежда была промокшей. На одежде сияли блики, искушавшие его и напоминавшие о том, для чего именно он все это затеял. Болеро тоже пропиталось этой вонючей жидкостью: возможно, перед захоронением гроб как следует окропили святой водой или местность здесь какая-то заболоченная? Даже чулки, вымазанные в грязи, уже не казались розовыми, мягкие туфли на плоской подошве, когда Микки собрался их снять, издали чавкающий звук. И казалось, все равно, откуда начинать – сверху или снизу – тело болталось здесь, словно утопленник; Кайман весь был опутан плотной сетью подтяжек, застежек, шнуровок и подвязок. Микки вспомнил о тринадцати рубинах: стало быть, они где-то на спине, сзади; он знал, что заберет их себе, не сдержав обещания, кстати, он никаких обещаний и не давал, и все угрозы Мумии, скорее всего, стоили не больше, чем спровоцировавшие их слова. Подхватив тело Каймана, он перевернул его на живот, дав ему вдоволь испить грязной жижи. Великий маэстро не срезал прядь, завязанную маленькой лентой, она пряталась под специальной сеткой и вовсе не была накладной, он не нарушил традиции, однако Микки на такие дела плевал. Он

обшаривал одеяние сзади, ища застежку, затем с треском порвал шитье, заполучив все тринадцать пуговиц. И затем дал деру. Слабый свет первого попавшегося фонаря осветил вместо драгоценных камней ничем не примечательную пластмассу.

Микки оказался неподалеку от города и решил пройтись, памятуя, что там на улицах есть разные намалеванные знаки с маленькими фигурками, указывающие: дети где-то поблизости или могут вот-вот появиться в квартале, – такие рисунки вешают под предлогам, де машины должны притормаживать, чтобы невзначай их не покалечить; подобные обозначения пользовались особой популярностью у детских воров, став для них настоящими вехами. Микки приметил забор, увешанный всякими эмблемами, у каждой имелась какая-нибудь особенность, как если б внутри, за оградой крепости, обитали разнообразные особи. Микки пытался узнать, какие же именно: на одной табличке был нарисован с нарушением всех пропорций большеухий человечек, на другой как-то криво выведена нога, на третьей на глазу изображена повязка, на четвертой – нереальных размеров башка. «Должно быть, они там все странные, – подумал Микки, – как раз то, что мне нужно, так легче набить руку, если они увечные, их проще поймать и потом проткнуть. Рассвет медлил; Микки несколько раз обошел здание, считая, сколько там входов, и выбирая, какой удобнее. Внезапно из двери, которую он как раз решил не трогать, выскользнула фигура в белом – монахиня с ивовой корзиной в руках отправилась за покупками. Словно вспышка его

озарила, Микки представил себе, как бросается на нее, укладывает на месте, срывает одежду, чтобы напялить ее на себя, тело монахини сталкивает в водосточную яму, суму свою прячет в котомке, но все это требовало каких-то усилий и к тому же было банально. Он дал монахине спокойно пройти мимо, она даже не обернулась, чтобы на него глянуть, хотя в такой час улица была совсем пустынна. Как ему показалось, дверь она за собой не захлопнула, так что Микки подождал, когда монахиня скроется за углом, и повернул обратно, достаточно было слегка коснуться, и дверь приоткрылась, он попал на безлюдный просторный внутренний двор, где едва начинала брезжить заря. Школа как-то отдаленно напомнила Микки то заведение, в котором он оставался в детстве, хотя, быть может, это воспоминание основывалось лишь на рассказах матери. С противоположной стороны двора виднелись окна большого зала; сбоку на куче песка громоздилась пирамидальная бетонная конструкция; рядом с Микки был проход к писсуарам: простая стена серого сланца, вдоль которой по желобку стекала вода. Микки поставил суму на каменные плиты и задумался, как бы завлечь поближе к себе какого-нибудь ребенка, пока не успел прозвучать звонок, после которого двор будет полон и он уже не сможет священнодействовать. Открылась дверь: на площадке задвигалось маленькое несуразное существо, принявшееся потихоньку боком спускаться по лестнице, внезапно оно остановилось, чтобы лизнуть перила, и снова побрело к Микки, позади волочились помочи, спущенные штаны болтались на коленях, так что существо чуть ли не на каждом шагу спотыкалось. Словно пьяному,

ему никак не удавалось идти прямо, маленькие припухшие ручки махали в разные стороны, как бы прогоняя мух. Иногда ребенок останавливался, чтобы потереть пузо, сося палец, он пробрел уже мимо, но теперь решил вернуться и осмотреть писсуары. Ступни у него были большие, а голова смотрелась гораздо внушительнее, чем тщедушное тело, и из-за этого походка казалась еще более неуверенной. Микки увидел, что он мочится на себя. Ребенок трогал ноги, проверяя, что дело действительно продвигается, как подсказывали ему ощущения в животе, и изумляясь, когда струя попадала внутрь писсуара. Струя лилась. Затем прекратилась, ребенок стоял на месте. Он поднял голову: до него дошло, что рядом стоит Микки. Тот же схватил деревянный меч и направил его на ребенка. Он впервые в жизни нападал на реально существующего ребенка и от волнения позабыл обо всех правилах. Главное было не размазать его на месте, тем более, что ребенок явно не в себе. Микки отставил меч, продолжая на него посматривать, снял с себя ветошь, скрывавшую болеро, встряхнул тряпкой и, подойдя к ребенку поближе, начал ею махать, покрикивая, чтобы вывести из себя; тот стоял у него прямо под носом, и Микки вот-вот мог его сцапать. Но вот ребенок отпрянул. «Да что ж за растяпа!» – подумал Микки. Он бросился за ребенком, который вдруг сорвался с места и побежал с неожиданной ловкостью. Он долетел до двери, мигом ее распахнул и сразу же запер. А теперь показывал Микки язык. «Ах ты крысеныш!» – прокричал разгневанный Микки у самого окна. Он подобрал свои вещи и быстренько смылся. На улице ему снова попалась монахиня, возвращавшаяся теперь с покупками, корзин-

ка явно потяжелела, монахиня вежливо поприветствовала Микки, подошла к нему и предложила хлеба: «Возьмите, дитя мое, он еще теплый!» Микки набросился на хлеб, словно дикий зверь, монахиня же сочла, что он страшно признателен. «Вам стоит отправиться вместе с нами в паломничество к Девам, – молвила монахиня, – мы очень нуждаемся в доброй помощи, мы отправляемся всем составом с нашими детками, посетим пляж и будем купать их, день обещает быть солнечным…» Микки немного подумал и отправился вслед за монахиней, немного опасаясь, что гидроцефал все разболтает, правда, он лелеял надежду, что тот, быть может, немой.

Повозки со статуями Дев на песчаном пути вязли. Хромые тащили статую Девы пучин, больные зобом – статую Девы рос, чокнутые – статую Владычицы страхов. Растяп обвязали веревкой, чтобы они не разбрелись ненароком в разные стороны, подзорную трубу доверили одноглазому, в конце кортежа шли монахини под зонтами. Микки шагал сам по себе, иногда касаясь чистых льняных облачений тех дев, что не были статуями, тоже под зонтиком, таща корзину с едой. Он прятал меч под одеждой; картонный клинок, касаясь тела, уже не был холодным, порой Микки поглядывал вниз, следя, чтобы рукоятка не вылезла наружу. Он так и не отыскал своего недоумка, быть может, тот прятался в одной из повозок под тентом. Микки уже не боялся, что кто-то наябедничает, теперь он был под покровительством настоятельницы, которой его порекомендовала утренняя монахиня. Когда слабоумные, рахитики

и горбатые, таща за лямки и двигаясь все в одном направлении, начинали охать и ахать, вызволяя повозки из рытвин, куда те проваливались, сталкивая статуи Девы пустыни, Девы отбросов и Распорядительницы ругательств, стоял настоящий гвалт. Эти дамы были похожи на чемпионок по водным лыжам, которые, совершив сказочный прыжок, таинственным образом скрывались меж волн. Ударяясь друг о друга, они преображались в кетчисток: упав от удара, Дева льдов и Дева рос набрасывались вместе на Деву Пустыни, кусая ее за ягодицы; Владычица страхов, выбравшись из топи и идя на выручку, щедро раздавала оплеухи, одного боднув головой, другому вмазав ногой; святая Агония, не знавшая злодейских тонкинских приемов, подобралась к соперницам сзади и, задрав тем юбки, принялась вертеться юлой, чтобы превратиться в огромную палицу. Разини, по-прежнему связанные веревкой, орали от страха, прочие недоумки скрылись за дюнами, боясь, как бы и им не досталось по морде. Покинув прохладную сень под самым большим зонтом, Микки бросился на подмогу, спрашивая себя, не перегрелся ли он, быть может, его хватил солнечный удар, раз пригрезилась подобная гекатомба. Но нет, надо было скрутить самых задиристых из этих дам, утешить пострадавших, перевязать вывихнутые руки, склеить все, что разбито на множество осколков. Но шум и гам не прошли даром: отойдя немного назад, чтобы высвободить последние повозки, на песке обнаружили странные следы. Настоятельница уверяла: следы могли принадлежать только детям; Микки же казалось, что на некоторых отпечатках видна не похожая на песок золотая пыль; одна из монахинь, хорошо

разбиравшаяся в мифологии, засвидетельствовала, что ступни таких размеров могут принадлежать самому настоящему великану. Следы, блуждая, сходились к снаряду, торчащему из песка, ставшего в этом месте похожим на пемзу и осыпáвшегося, лишь стоило к нему прикоснуться, тогда прочь неслось целое облако морских блох. Когда решили его достать, показались вначале комья черной земли, затем очень скоро на конусе засверкали покрывшиеся трещинками вмятины, отливавшие золотом, пыль которого они различили, еще разглядывая следы. Микки возглавил раскопки: только что ему в рот попали две или три морские блохи, он хрустнул зубами, чтобы попробовать, какие блохи на вкус, он разгрыз панцири, и изнутри полилась отдающая йодом, рыхлая, трепещущая, полная жизни слизь. Он стал поторапливать остолопов, чтобы те поскорее вырыли яму, а недоделанным приказал терпеливо счищать ногтями налет со странного предмета, который уже постепенно показывался из земли. Уродливые руки скребли, царапали, скоблили, начищали до блеска и, в конце концов, на песке, таком раскаленном, что даже пыль не могла подняться, явилась статуя сияющего золота. В самом деле, то был ребенок, но ребенок-гигант, никто бы не ошибся, глядя в бирюзовые раскрашенные глаза, он застыл в своей позе, и лишь небольшой член был готов в любую минуту подняться, маленькие уродцы поначалу в ужасе отпрянули от огромных ног, затем стали смеяться, поскольку справились с тяжкой работой, и припали, целуя их, к стопам античного соплеменника. Настоятельница была очень взволнована этой находкой, она в смятении раскладывала топографические карты соседних

пляжей и говорила, стараясь выглядеть спокойной перед своими питомцами: «Наше открытие, мои дорогие, меня вовсе не удивляет. Я давно знаю, что с этим местом связана одна легенда… Рассказывают, что остров, располагающийся напротив, который можно увидеть лишь в бурю, тянет к себе детей, словно магнит, они бросаются в воду, чтобы приплыть к его берегам, но всех затягивает сильнейший водоворот… А где подзорная труба? Дайте-ка мне сюда…» Освободили повозку Девы льдов, которой в этом передвижном оссуарии было теперь хуже всех, положили ее поперек, а сверху водрузили золотую статую. Подзорная труба никак не желала показывать остров, который все так страстно хотели увидеть.

Микки свалился в кусты боярышника. Следивший за ним человек видел, что его шатало из стороны в сторону: уходя из школы пустоголовых, он умыкнул в подвале две бутылки с водкой, спрятав их на дорожку в котомке. Монахини накормили его до отвала, надеясь, что он останется и будет у них сиделкой. Шедшего за ним следом тоже заинтересовал Микки, но из-за того, как был одет. Тот подождал, пока одуревший Микки весь искарябается в колючках, и подошел поближе. Услышав, что кто-то с ним говорит, потом хватает за шкирку, Микки приоткрыл глаза: перед ним, словно в калейдоскопе, замелькали знакомые лица, казалось, он узнает сначала кастролога Бобо, потом медвежьего вожака Украдку, затем могильщика Мумию в нависавшем над ним человеке, но на самом деле тот никого из них не напоминал: человек был одет, несмотря на жару,

в серый полосатый костюм, под ним виднелись белая рубашка и строгий черный галстук, довершала облачение пара лощеных мокасин, в руках пусто, но карманы набиты чем-то громоздким. «Нет, меня зовут Кит!» – сказал человек Микки, который начинал что-то соображать, и, переходя сразу к делу, спросил: «Что это за котомку ты с собою таскаешь?» – «А это у меня противовес. Чтоб не падать. А еще компас, чтоб по лесу идти». Кит помог Микки подняться и вытащить из одежды шипы. «Что-то я не заметил, чтобы твой противовес помогал шагать ровно! Только что ты, похоже, танцевал вместе с ним польку. Глядя на тебя, я со смеху чуть не помер…» – «А чего вы за мной ходите?» – спросил с недоверием Микки. – «Да все смотрю на твою задницу, – ответил Кит, – только пойми меня правильно: там у тебя вся история прописана, все видно, когда ты идешь, у тебя меж ляжек – я сразу такое определяю – расстояние чуть меньше, чем если бы ты ездил, скажем, на лошади, – вся штука в том, под каким углом человек ставит ноги, – у тебя вот походка какая-то неуверенная, и в то же время она выдает человека ожесточенного. Сразу чувствуешь, что ты ищешь не зверя, тут что-то другое, у тебя как-то иначе напрягаются ягодицы, они трепещут от ожидания, когда же ты облачишься в обтягивающий их атлас, который испачкают невероятные брызги, но атлас стоит ведь очень дорого, правда?» – «Да», – ответил Микки, которого эти слова вместе с палящим солнцем почти загипнотизировали. «А где ты берешь детей?» – «Так в этом-то и проблема! – ответил Микки. – У меня не получается!» – «Ты что, не знаешь об иерархии?» – «Какой еще иерархии?» – спросил Микки. – «Ну, есть ведь

определенные ступени, разные теплые местечки, все это работает, я могу тебе пособить, отыскав что-нибудь эдакое… Ты ошиваешься вовсе не там, где следует. Уж не знаю, кто тебе что напел, но уже лет сто, как ничего подобного на дорогах не происходит, а, если и происходит, то тебе туда уж никак не влезть, поскольку нету теперь никаких кортежей, а инфантеро, к квадрилье которых ты бы хотел примкнуть, чтобы как следует овладеть наукой, ездят в лимузинах с затемненными стеклами, лимузины носятся по дорогам и ни в жизнь не остановятся перед нищим, как ты…» – «А с чего это вам мне помогать, а?» – спросил распаленный Микки, от услышанной речи опьянение как рукой сняло, ясность вернулась, Микки дрожал. «И то правда, у меня есть свой интерес, – ответил Кит, – могу предложить сделку любого рода…» И он вытащил из карманов целый ворох расцвеченных листочков. «Ты хочешь обменять это на картинки, да?» – спросил, ухмыльнувшись, Микки. Он мельком увидел портреты разных мужчин, в анфас, сбоку, порой размытые, порой, разумеется, в гриме, в разных местах и разных позах. «Ты кого-нибудь из них уже видел?» – спросил Кит. – «Нет, – ответил Микки, – они тебя побили?» – «Нет, – сказал Кит, – я их ищу, потому что это моя профессия, я – охотник за головами…» – «Тебе нужна моя голова?» – спросил Микки. – «Нет, – ответил Кит, засмеявшись, – но одни головы прячутся за другими, по головам можно пробраться к тем, что повыше… Так мне удалось поймать одного нацистского преступника, ты его знаешь, он был врачом, проводившим эксперименты…» – «Нет, не знаю», – ответил Микки. – «Что ж, я точно уже не помню, – продолжал Кит, – кажется, он пересажи-

вал своим жертвам мозг обезьян, или наоборот, я забыл...» Кит и Микки шли все дальше. Дорога стала совсем серой, по обеим сторонам простирались скошенные поля, выглядевшие, словно гладкая шерсть той породы собак, окрас которых называют «кофе со сливками», говорят, они очень ласковые; виднелись три кривые сосны и уличные зонтики у ограды обычного тихого домика с зеленой кровлей; дальше поля переходили в заросли; на горизонте, где скрывалась дорога, небо расцвечивали фиолетовые и желтые полосы.

Кит исчез, пообещав Микки, что они еще свидятся, и составив для него небольшой план: шел слух, что заводчики собираются устроить где-то в округе празднество; где именно – неизвестно, это хранят в секрете до последнего часа, чтобы избежать неурядиц; в ближайшие дни задачей Микки будет раскрыть тайну, поскольку, если удастся попасть на празднество, это сыграет ему на руку, его может заметить кто-нибудь из заводчиков или импресарио, или великих инфантеро, которых всегда приглашают и которые могут стать для него, если удастся себя зарекомендовать, кем-то вроде наставников... Отныне он будет болтаться меж предместьями, по которым ездят фургоны с детьми на продажу, – заслышав стенания, можно проникнуть туда, где их держат перед сражением, – и центром города, там в большом отеле остановится самый прославленный инфантеро, «звезда», он перед празднеством отправится вместе с импресарио на встречу с заводчиками и хозяевами арены, чтобы заключить сделку; они тоже могут привести Микки на место будуще-

го состязания. Если в пригороде все окажется на мази, он должен по ночам стеречь стратегически важную местность, по которой пролегают пути торговцев, это в южном районе, туда направляются грузовики с детьми, стараясь избежать встречи с таможенниками и полицией. Там постоянно орудует банда молодых парней, они организовали тайный пограничный патруль и берут мзду с перевозчиков, которые не в силах сопротивляться такому дикому вымогательству, когда не просто расспрашивают о целях поездки, но еще и навязывают свою протекцию, за нее надо отдать часть голов. Бедняги вынуждены потом оправдываться перед хозяевами, ссылаясь на случаи тифоидной лихорадки или нервного истощения, из-за чего могут уничтожить всю партию… Микки сумеет затесаться в такую банду, только надо вооружиться хорошим ножом.

Перед тем, как приступить к выполнению плана, Микки пошел помолиться Черной Деве. Костюм был по-прежнему несовершенен, а следовало сделать так, чтобы к нему отнеслись с уважением, и вот Микки угодил в ловушку благочестия, прихватив с собой тонкий мусорный мешок, который можно легко смять или превратить в нечто пышное. Черная Дева была девой надежды, она протягивала руки к пришедшему, выступая из центральной ниши, к которой вела аллея из свеч, она стояла в самом центре часовни, у Черной Девы не было никаких соперниц, здесь находился только ее алтарь, и все, склоняясь, вставали перед ней на колени. Дверь часовни никогда не запиралась и зимой служила приютом бездомным, место это

было священным и прославилось многими чудесами, которые, казалось, происходили сами собой, никто не стремился войти сюда силой, Микки пробирался меж горящих светильников, уверенный, что пришел первым. Он хотел помолиться. Подождал, пока закончит старушка, больше никого вокруг не было. Он опустился на колени у ниши и собрался поцеловать ноги статуи. Но ног у нее не было. Черное атласное одеяние ниспадало до самого пола, Микки его приподнял: ткань держалась на суживающихся к талии стальных дугах, у статуи не было ни ступней, ни ног, а в темноте, чуть выше, казалось, располагался каменный блок, с которого, словно множество папильоток, свисали ленты. Микки не хватило времени все как следует разглядеть, по телу его пробежала судорога, и он вытащил голову из-под полога, бережно вернув все на место. Зарылся лицом в атлас, будто собирался сморкнуться или вытереть слезы. Но на самом деле он лишь вдыхал запах, в котором сочеталось удушающее множество различных оттенков: конфитюр и цвель слились воедино, пьянящая пыль навевала мысли о ладане и бурых водорослях, воспоминания об ароматах накладывались друг на друга, словно кадры при многократно повторяющейся экспозиции, он касался ткани лицом и от нее будто бы отделялись крошечные вихри, пахнущие гнилыми фиалками и нагревшимся на солнце галечником, сладкой губной помадой и накладными прядями. Новая судорога заставила его отпрянуть, он поднял голову: на платье была прозрачная, богато украшенная золотая риза, к которой крепились сотни записок с молитвами: на английской булавке виднелись сложенные бумажки, которые уже пропитала

ржавчина, молитвы должны были стать нестираемыми, но казалось, что из них потихоньку сочились слезы, смывавшие все слова; висели там, как на рождественской елке, серебряные украшения в виде различных частей тела – изображения детских носов, ног, легких, измученных холодом, кашлем; казалось, вдоль ризы струится само детство, льнет к золотым нитям, стеная, старается укрыться под тканью или, смеясь, переливается на поверхности россыпью бликов. Микки подумал, что ему тоже следует написать записку. Он зашептал: «Я украшу свою голову вереском, мой убор будет похож на маленький лес, кудри будут из незабудок, на лбу вырастет висячий сад, сооружу специальную шпалеру, которую закреплю за ушами, буду идти с этим сооружением – стебельки раскачиваются в разные стороны – подойду к ребенку, высоко подняв голову, затем склонюсь пред ним, чтобы он отведал яство из взбитых волос; на спине у меня будет стоять корабль, я опущусь долу перед ребенком, чтобы он взошел на борт...» Он разглядывал статую: поверх ризы, под покровом виднелись восковые руки, украшенные перстнями, казалось, в них зажата одна из записок, которую следует расшифровать и исполнить, но руки в нерешительности не двигались, они никогда не решатся. Из-за огромного покрова, под которым можно было спрятаться подобно плакальщице на могиле Каймана, прочее убранство казалось почти бесполезным, покров тяжело ниспадал на плечи, пуская по темным, местами переливающимся складкам изветшавшей ткани серебристые узоры, расцветавшие порой звездами, а сверху была корона, почти невесомая по сравнению с настоящим металлом, и никакие

листья увянуть на ней не могли. Запыленный восковой лик обрамляла густая кудель под траурным капюшоном. Микки заметил, что недвижимый лик страшно пленителен: тяжелые молочные веки, застывший взгляд, невзрачный рот, но на щеках сверкали хрустальные слезы, Черная Дева оплакивала грехи всего мира, неся на себе бремя огромного сверкающего покрова, составленного из звезд и креста. Микки набросился на нее, не стесняясь: он схватил за край платья, оказавшегося теперь просто куском ткани, намотанным на металлический остов, который представал взору, пока Микки сгребал потрескивавшую ткань в охапку и пытался засунуть в сумку. Но конец прочно крепился к основе, ножниц у Микки не было и он с силой рванул материю на себя: вся риза рухнула наземь, словно гора игрушек, ломая восковые детали, звеня колокольцами, в облаке золотой пыли в одну сторону полетела детская нога, в другую – записка, раскрывшая наконец при ударе тайну, Микки поднял записку, там было написано: «Помни обо мне!» Микки осталось забрать самый большой кусок ткани, то есть покров, он постарался сделать это поосторожнее, чтобы не повредить лик: он должен был встать рядом со статуей, которая просвечивала теперь насквозь, и аккуратно отколоть головной убор: тот был так хорошо закреплен по кругу, что Микки лишь изранил пальцы, покров оставался на месте, впитывая кровь из маленьких ранок, и никак не хотел отцепляться. Тогда Микки встал на цыпочки, чтобы снять величественную корону: она оказалась так богато украшена, что было чем расцветить любой роскошный костюм. Корону сдвинуть с места оказалось легко, и она очутилась

на дне сумки поверх атласа. Перед тем, как уйти из часовни, Микки глянул на Деву в последний раз. Теперь это была просто оголенная женщина, и даже более, чем оголенная: лишенная не только убранства, но еще и плоти, костей, всякой своей материальности. Совершенное насилие вызвало на ее лице то выражение, в котором она так долго себе отказывала: глядя на Микки, Черная Дева улыбалась.

Радиатор – его брат – ждал Микки у входа в часовню. Он знал, насколько рискованно все предприятие, и стоял на стреме, развлекал там одну мещаночку, которая собиралась пойти помолиться, уверяя ее, что покамест надо повременить, а не то на нее падет страшный гнев… Радиатор объяснил Микки, что все время шел за ним по пятам с момента, как Микки покинул родительский дом, что он издалека наблюдал за встречами с кастрологом Бобо и медвежьим вожаком Украдкой, с могильщиком Мумией и охотником за головами Китом, Микки не поверил ни единому слову. Радиатор говорил правду только отчасти: он действительно наблюдал за несколькими встречами, но не за всеми, Микки несколько раз от него ускользал, он уходил от преследования, сам того не желая, и Радиатор должен был постоянно обходить округу по сотне раз, порой он вынужден был носиться как угорелый и всех расспрашивать, чтобы вновь отыскать брата. Теперь же он предстал перед ним столь внезапно, поскольку понял, что отныне брат нуждается в помощи: ему нужен портной, чтобы расшить бедную одежду награбленными сокровищами, а после, когда готовое одеяние засияет

огнями, он превратится в настоящего инфантеро и ему обязательно понадобится оруженосец, которым так хотел стать Радиатор. Меч у Микки все еще из картона, но скоро появится настоящий меч из металла, так что пора ему без отлагательств приступать к изготовлению футляра для лезвия, на крышке которого он выведет инициалы брата. Микки потребовал от Радиатора перво-наперво изготовить ему ребенка, чтобы тренироваться: он уже страшно хотел сразиться, но дети прятались по домам, они были недостижимы; пока же они никого не поймали, чтобы набить руку, следует довольствоваться чучелом.

Они заняли на парковке пустовавший гараж. Радиатор украл на рынке тачку, на которой соорудил куклу из склеенных лоскутков и газетной бумаги, чучелко было податливым, чтобы меч входил в него, как в живую плоть; когда Микки не тренировался, оно служило Радиатору манекеном, к которому он прикладывал ткань из часовни, кроя ее по размерам Микки, подгоняя и сшивая куски атласа прямо на кукле, он смастерил тонкие охотничьи сапоги, во время примерки он косился на болтавшийся между ног хер, по-прежнему втайне его обожая, но не притрагиваясь, ему нравилось чувствовать аромат, сражающий его наповал; в подвале имелся водопровод, но они им не пользовались. Все трое, вместе с неподвижным рабом, старались сидеть тихо, не появляясь на людях, и трудились не покладая рук. Они раздобыли на свалке грязный матрас и, возвращаясь на заре из очередного похода, валились на него, падая прямо друг на друга и толкаясь, все было невинно. Микки

хотел упражняться, с модели следовало убрать гипюр, усеянный булавками. Микки расцветил безликую голову, нарисовав бирюзовые глаза, как у золотой статуи, вылепил пупок и маленький глиняный член с прожилками, он очень хотел, чтобы у его жертвы появились на голове волосы, Радиатор собирался срезать свои, но Микки ему запретил. Он начал примерять то, что уже смастерил Радиатор: были готовы обтягивающие штаны с фетровым гульфиком, но верх пока оставался голым, Микки каждый раз вцеплялся в корсет матери, не желая с ним расставаться даже на время, что потребуется для его украшения, потом Радиатор обернул ему вокруг талии сборчатый пояс, который только что закончил, и на Микки красовалось уже некое подобие будущего костюма. Когда на стоянке никого не было, он носился по ней босиком, позабыв о розовых колготках и черных матерчатых туфлях. Но, как ни крути, оставалась одна задача посерьезнее, нежели отделка костюма, которой всецело посвятил себя Радиатор: он получался черно-золотым, поскольку шился из платья Девы, одеяние же новичка традиционно сочетало золото с белым. Микки сказал Радиатору, который хотел уже попытаться обесцветить черный материал, превратив его в грязно-серый, что их упущение станет отличием, которое принесет удачу. Радиатор хватал тележку и бежал подальше от Микки, который старался теперь очаровать куклу, бросая вызов неподвижной фигуре, воркуя и строя глазки, изгибаясь в блеске обтягивающего наряда, завоевывая ее внимание с каждым шагом, преклоняя колено в пыльном подвале. Качая тачку, Радиатор, спрятавшийся за

чучелом, имитировал детские реакции, фигурка дрожала от страха и от воодушевления, пускалась на хитрости и безумства, стремясь ускользнуть и чувствуя, как в нее целятся, что ей грозит смерть, ища какой-нибудь выход. Микки жеманно обходил вокруг, окрикивая, бросая резкие замечания, щелкая языком, распутно облизывая губы, посылая воздушные поцелуи и кокетничая, резко взмахивал под самым носом новым лиловым плащом с розовым подбоем, преграждая путь к отступлению, словно ударом хлыста, и вдруг отдергивал руку, зарываясь лицом в ткань и пытаясь таким образом скрыть невероятный испуг и сбившееся дыхание. Микки заливисто хохотал, уверенный в победе, или на какой-то момент прикрывал веки, изображая беспомощность, чтобы ребенок мог на него наброситься. Много дней кряду Радиатор чертил схему строения детского горла, мастеря потом с помощью небольших спринцовок и тоненьких трубок, продетых в некое подобие плоти, специальное устройство, якобы плюющееся ядом, чтобы Микки учился от него уклоняться. Смертоносного меча по-прежнему не было, Радиатор заменил его металлическим стержнем, приделанным к рукоятке ножа, и прятал за спиной у ребенка, вдев в торчащее из колонны кольцо. Ему следовало скрываться во время сражения, а в самый решающий момент он должен был снова превратиться в оруженосца и протянуть из-за манекена клинок для решающего удара. Микки чувствовал себя обессиленным и почти уже не мог двигаться, когда брат протягивал ему меч, вызывая в нем приступ ярости, завершая спектакль и призывая еще раз покончить с маленьким рабом:

с губ его текла пена, все внутри заливал жгучий страх, лезвие вспарывало тряпье, и его, словно подарок судьбы, орошала горячая детская кровь.

В сыром подвале у Микки началась сильная лихорадка. Он бредил. Брат ухаживал за ним и слушал его безумные россказни: «Я превращусь в дикаря, охотящегося за детьми, – говорил Микки, – в маленького беззубого карлика с козлиным хвостом, я наброшусь на ребенка сзади и буду сражаться, сидя у него на спине, так он подумает, что я – его горб, сам я тем временем начну пожирать его задницу; я потеряю разум, напялю негритянскую маску и штаны, став зуавом, вонзающим в детей копья; у меня будет такой же злой, как и я, прислужник; быть может, ты; мы будем их поколачивать, будем выматывать из детей все силы, вытащим наши сабли, отрубим им головы и напьемся из забивших фонтанов; будем гнаться за ними, пока не свалятся; запугаем их так, что от жути они лишатся рассудка и будут умолять, глядя на нас тоскливым взором; дадим им поверить, что пощадим их; приласкаем между ударами наших мечей; размотаем тюрбаны, превратив их в приманки, ловушки, в которых они захотят спрятаться, в брыкающиеся тюки, которые водрузим на плечи; мы станем танцевать, отбрасывая страшащие их тени; рапиры пробуравят их спины до самого паха; мы будем смеяться над ними, одетые в разукрашенные костюмы, и воспользуемся мгновениями затишья, когда они ослабят натиск и станут сучить ногами, запутавшись в красной ткани тюрбанов, что волочится по земле; мы соединим отбрасываемые нами тени

так, словно вдали показались грозные призраки, указывающие на края арены, вначале они будут морщиться, потом успокоятся, они явятся и исчезнут; мы швырнем зажженные стрелы туда, откуда доносится шепот, а украшенные перьями гарпуны прибережем для ребенка, который взвалит себе на плечи и понесет прочь одного из наших, бросит его затем навзничь и начнет бить своими вонючими ногами, прямо по морде, пока та не превратится в вязкое месиво; дверцы ограды становятся колоннадами, а зрители превращаются в рептилий; я вдруг принимаю вид циркового наездника в позвякивающих крагах и не хочу вынимать меча, ушедшего по самую рукоятку в детский затылок; рука так сильно сжала клинок, как будто слилась с ним и пальцы теперь стальные, а клинок трепещет, словно превратившись в плоть, проникшую в плоть чужую; огни погасли, повсюду лишь серый дым; сидя на лошади, я бью по косой, я наверху, ребенок внизу, я довожу его до изнеможения, хлещу в разные стороны, и в тот момент, когда ему удается уклониться, валю его наземь; я наношу ему новую рану, на конце тонкого лезвия – словно магнит, вокруг которого он теперь вертится; он затоптал моих помощников, я зову новых на помощь, мы отомстим за наших! кровь струится по телу, но ребенок встает, словно он невредим, словно мы и пальцем его не тронули, а все мы – сами стали детьми, его братьями с кинжалами из картона, он царит над всей гекатомбой, затем он оседает и движется на четвереньках, и как нам одолеть этого пса? силуэт головы, вырисовывающейся на фоне луны, превращает бессмысленный диск в полумесяц; постепенно начинает брезжить заря; волшебной рапирой я уложу своего перво-

го ребенка; скачу на лошади, у которой на глазах шоры; я – похититель в плаще, танцующий с жертвой, лицо скрыто под шляпой, мы сочетаемся с ним воедино во время атаки, и уже не разобрать, где ребенок, где взрослый; я выдыхаю, и с трибун летят головные уборы; со шляпы свисает шнур, похожий на веревку удавленника, горло стянуто перевязью; публике кажется, что я смотрю прямо на нее, тогда как я поворачиваюсь к ней спиной;

все уже разбрелись, мы остались с ребенком одни во тьме, оружие испарилось, я не знаю, как к нему подступиться, схватить его за волосы или обнять за талию, он отбрыкивается, мне хочется, чтобы он был сильнее меня, чтобы взмахнул он сейчас ресницами, и я повалился б тогда на колени; мои руки приклеились к его бокам, к этому раскаленному железу, я теперь всего лишь дымящееся клеймо на его теле, уже не человек, а оставшийся от человека рисунок, и вот к нам подходят его покровители, платящие мне за то, чтобы смотреть, как я на него нападаю, они позвякивают кошельками, чтобы мы как-то пришли в себя; рисунок на коже ребенка разглаживается; мужланы кидают в лицо нам монеты; ребенок хочет меня обобрать, он крадет причитающееся мне золото; он прикончил всю свору наших собак, выпотрошив их своими крюками, когтями, жонглирует теперь их ошметками и любуется тем, как они валятся на песок арены; разбросав покалеченных псов, мы с еще большим рвением отплясываем танцы с поклонами; мне бы хотелось бороться с этим ребенком один на один, голыми руками, шлепнуться на стул, чтобы он мог спокойно на меня наброситься, раздирая мое убранство, кружева на руках, бубенчики на ногах, всякие побрякушки, чтобы глядел

он своим помраченным взглядом на единственную приманку, на мою шляпу, воротник, короткий шиньон; я брошу ему вызов, стоя на пиршественном столе, пусть он дернет за скатерть, чтобы я в мягких туфлях потерял равновесие; а прячущихся за моей спиной льстивых изменников, тайком обсуждающих мои отважные выходки, этих трусов и дезертиров, забившихся под свои зонтики, пусть спалит солнце, испепелив их рты, их крысиные морды! я покорю ребенка, пролетев над ним на шесте, пусть топчется там внизу в моей тени; я рад, что он посеял такую панику, запрыгнув на трибуны, чтобы от меня скрыться, что все, обезумев, повскакивали с мест, испугавшись ядовитой слюны, что величественно прошел он по опустевшим рядам, возвращаясь ко мне с победой и неся на руках труп женщины, кидая его к моим ногам; обсыпанный пудрой и в парике, я подло продолжу сражение, призову слепых, которых ничего здесь не напугает; оставлю их процессию мяться где-нибудь в стороне и ринусь к ребенку, чтобы его искромсать, когда он со всего маху налетит грудью на протянутый мною кинжал; заберусь на него верхом, чтобы оседлать, выкрою из его кожи поводья, вырежу у него на спине седло, срежу волосы по бокам головы, чтобы получилась настоящая грива; когда же, закусив удила, он совсем обезумеет, я поскачу на нем к ребенку пугливому; я натравлю на того новую свору голодных псов, этих боксеров, которым я сам сплющил морды; мне нравится смотреть, как ребенок, схватив за хвост пса, со всего маху бьет им другого, а зрители возмущаются и орут; нравятся призраки, которых различаю лишь я, эти лишенные плоти фигуры, спокойно беседующие возле нас во время самой

кровопролитной битвы; не знаю, успевают ли они потереться о детские зады, и не свидетельства ли о заключенных пари мнут они в исхудавших руках; мы встаем на колени у ног гибнущего ребенка, снимаем береты и тычем ими ему под нос, чтобы он подумал, будто мы просим у него милостыни, будто ждем, когда упадут на шелковую подкладку его слезы или прядь волос, или губа, если у него остались еще силы, чтобы что-нибудь оторвать, или, быть может, глаз, или член, с которого содрана кожа, чтобы затем бросить это публике, особо признательной за свидетельство позорного поражения; ребенок изумится, разглядев облегающую мои мышцы пеструю ткань, пышные рукава и черное кружево поверх шиньона; на поясе у меня будут висеть небьющиеся флаконы, куда я соберу последние детские вздохи, когда настанет его конец; стану танцевать перед ним, как разукрашенная шалава с упругим задом, до тех пор, пока он, придя в ярость, не повалит меня и не обрушится в неистовстве всем своим весом, бодая в живот, выдирая и разрывая на части мои кишки, желая длить эти мгновения целую вечность.

Радиатор украл мопед, чтобы отвезти Микки на эспланаду. Шайка располагалась на постой около шести вечера, у некоторых во рту было полно золотых зубов, так что улыбки буквально сияли; ходили невероятные слухи, будто доставили светловолосых детей с Севера, юрких смуглых малышей со сладкой кожей, но все это были голодные разглагольствования позади грузовиков, припаркованных возле насыпи, тогда как с другой ее стороны продолжалось вполне обычное движение

пригородного транспорта. Лица были одни и те же, изможденные, желтоватые; на глазах темные очки, волосы вымокшие, засаленная, перепачканная, зауженная одежда, вся латанная-перелатанная, местами посверкивают лучистые переливы: прославленные вымогатели постарели, их давно уже заменили, они стали никому не нужны, но все еще здесь ошивались, денег у них никогда не было, выгоды никакой тоже, разве что терпели унижения и собственную никчемность, они служили местной достопримечательностью или, если угодно, дорожными пугалами, им позволяли там торчать лишь для развлечения иностранцев, сами себя они называли Несравненными, но в то же время мирились, что остальные зовут их Растяпами. Настоящая торговля шла в стороне, их, так сказать, отбрили, и тут одно к одному: они в самом деле брились наголо, сбривали усы и бороду, лица у них получались гладкие, добродушные, в то время как хотели они совершенно другого – носить лохмотья, ходить косматыми и показывать всем клыки с такой злостью, которая была категорически им не свойственна. Наиболее показательного из них, слывшего чуть ли не историческим памятником, звали Бананчик, он всю жизнь ходил в учениках инфантеро, так и не осмелившись продырявить ни одного мальца, было ему около пятидесяти; чтобы как-то повеселеть, когда события разворачивались совсем уж мрачно, он заявлял, что его ждет потрясающая карьера и показывал письмо на русском, написанное одним почитателем из Ленинграда. Другого именовали Наростом, был он никому не известным инфантеро, охромевшим по воле случая и с тех пор занимавшимся единственным делом,

которое более никого не воодушевляло: чистил всем желающим башмаки и, приволакивая ногу, таскал с собой ящичек, напуская при этом вид высокомерного великого мастера, вышедшего на арену, чтобы покрасоваться. Нарост утверждал, что воспитал нескольких учеников и все они стали знаменитостями где-то в Мексике; однако педагогика ему наскучила, и он подался в импресарио: у него получалось заключать контракты столь же удачные, что и у знаменитого Лобстера, который являлся к ним без предупреждения, чтобы отобрать у банды одного из будущих чемпионов. Нарост говорил тем, кого тщетно пытался уберечь, что Лобстер – мерзавец, сутенер, выставлявший молодняк на панель, он даже купил для этого целый дом, и весь облик этого человека, пожевывающего сигару, с блестящими волосами с синим отливом, с чемоданами, полными денег, вызывал мысли о делах явно мерзких. Несравненные служили для рисовки и для прикрытия, за ними стояла настоящая банда молодых и буйных, они-то как раз умели получить свое и держали в страхе всех, даже самых опытных, дальнобойщиков. На бритых головах они оставляли пряди, длина, толщина и местонахождение которых свидетельствовали об их ранге в группе, в день же их посвящения эти пряди следовало вплести в шиньон. Они не препирались с Растяпами касательно статуса Несравненных, хотя они-то как раз заслужили такое звание, к тому же они хотели запутать окончательно все следы, так что для себя они придумали иное обозначение – Забияки. Меж собой они говорили только о детях, обсуждали, какой у них вес, сильные или слабые у них ноги, откуда они родом, они знали о детях все, вплоть

до названий бактерий, обитавших у них в кишечнике. Когда ловили нового, делили его меж собой, распределяя различные функции, все вместе обожая ребенка и в то же время желая вымотать его до предела, ненадолго забыв о соперничестве и пользуясь тем, что им достался столь редкостный экземпляр. Несравненным, которые не имели никакого права заниматься детьми, они оставляли всякую мелочь, одежды, которые якобы когда-то принадлежали кому-то из прославленных инфантеро. За давно выцветшие розовые чулки могли дать порой баснословные деньги, которые Забияки сразу же отбирали у Несравненных, как только тем удавалось провернуть сделку с коллекционерами. Несравненные сочли Микки и Радиатора совершенно очаровательными, завидев, как те в первый раз подбираются к насыпи, и зная, что вскоре им придется убраться, поскольку в них полетят камни со стороны Забияк, то ли обороняющих свою территорию, то ли разыгрывающих новичков, эспланада была средоточием больших амбиций, тем более, что готовилось празднество, правда, неизвестно, где, когда и у какого заводчика оно должно было состояться. Об этом по-прежнему никто ничего не знал, водилы постоянно изобличали чьи-нибудь предсказания.

«Жди на улице», – сказал Радиатору Микки и с непринужденным лицом направился в вестибюль большого отеля «Реджина». Его никто не остановил, и он продолжал идти, не зная, миновал ли уже стойку администратора, поскольку старался держать голову высоко, чтобы не вызывать опасений; он рассчитывал, напустив на себя решитель-

ный вид, добраться до какого-нибудь людного места, лучше всего до бара, но попал к бассейну, где не было ни души, отель будто вымер. Он повернул обратно, ему попалась девушка в переднике, у которой он не решился ничего спрашивать, и тут увидел светящуюся табличку, указывающую на бар. Он заколебался: спесь подвыветрилась, слащавая музыка, доносившаяся из бара, лишила его всякой храбрости: никогда он не сможет принадлежать этому миру. В очередной раз повернув, он вдруг увидел стеклянную перегородку, за ней меж занавесей открывалась перспектива на весь барный зал: рояля, который он ожидал там увидеть, не было и в помине, музыка звучала в записи, за стойкой был лишь один бармен, зал оказался пустым, за исключением закутка, где, развалившись в глубоких креслах, порой деловито жестикулируя, сидели двое, один из которых, кажется, был именно тем, кого он искал, расчет оказался верным. Но, вместо того, чтобы войти, он попятился, замерев возле перегородки, где на углу можно было наблюдать за всем баром, оставаясь в тени. Если вдруг услышит, что кто-нибудь приближается, с рассеянным видом пойдет дальше. Он затаился, разглядывая обоих мужчин: один из них, массивного вида, постарше, сидел к нему спиной, в обтягивающем телеса пиджаке, все время пытаясь раскурить окурок сигары; человек помоложе, обращенный к Микки лицом, казался хрупким по сравнению с горой мяса, наполовину его скрывавшей. Воротник рубашки у него был расстегнут, отпивал он понемногу, почти не говорил, напряженно слушая мастодонта. Микки был уверен, что узнал в этом женственном субъекте великого инфантеро Руди. Тем не менее, он искал

на стенах бара средь тонированных поверхностей зеркало, в котором бы отражался затылок этого человека, показывая, есть ли там прядь, и неважно было, висит ли она свободно или ее убрали под сетку, – главное, чтобы она там была, тогда все сразу станет понятно. Его застиг врасплох чей-то вежливый оклик: «Вероятно, молодой человек желает что-нибудь выпить?» Микки в смятении обернулся: рядом с ним стоял одетый во все белое гарсон, приблизительно того же возраста, что и он сам, смотрел он почтительно, но впечатление было такое, как если бы Микки приставили к виску револьвер, он на мгновение потерял дар речи, ответил сначала «Да!», затем «Нет!», потом «Все же, да!», стал отступать назад и вдруг стремглав бросился прочь. Пронесся стрелой вдоль вестибюля мимо стойки администратора, ошеломив весь персонал. Радиатор заставил его притормозить: «Ну что, ты его видел? Удалось с ним поговорить?» – спросил он. Микки отвечал, запыхавшись, со злостью толкнув Радиатора: «Да! Нет! То есть да! Да отойди же ты! Оставь ты меня в покое! Да, я его видел! Еще дальше! Он сейчас выйдет…» Радиатор, расстроившись, ушел прочь. Микки принялся ждать, стараясь внешне успокоиться, тогда как внутри все бурлило, он ждал, когда же появится тот человек.

Стало темнеть. Микки успел рассмотреть уже всех клиентов отеля, один из которых слишком долго сжимал его руку, пихая ему монету; потом приходил портье, чтобы прогнать Микки, но тот все равно вернулся на прежнее место. Он видел, как ушел собеседник того, кого он так ждал:

толстяк так и не выбросил сигару, продолжая ее жевать и неся в руке кожаный чемоданчик, семенивший вослед лакей бросил: «До скорой встречи, сеньор Лобстер!» Усевшись в белый мерседес, импресарио поехал прочь, даже не глянув на Микки. Входили и выходили все реже, поскольку пришло время ужина, яркий и жаркий вечер все никак не кончался, не желая уступать свежести и прохладе, стояла тишь. И вдруг у дверей показался тот самый человек с расстегнутым воротником, странным образом в непосредственной досягаемости, без лакея, которого ожидал увидеть Микки, он смотрел на часы, ступил на следующую ступеньку, словно не решаясь, куда отправиться, прошел, не видя его, мимо Микки. Правда, с появлением человека тот застыл словно каменный. Микки вдохнул воздух, высвободив внутри какую-то особую силу, паника прошла, словно ее не бывало, он догнал человека и схватил его за руку. Нерешительность обернулась вызовом, он обрушился на недосягаемого, которого прежде боготворил. «Отдай мне свой меч!» – начал он. – «Оставьте меня в покое!» – бросил Руди, отдернув руку. «Ты ведь тоже когда-то был на моем месте, – продолжал Микки, – ты тоже умолял, чтобы тебе отдали чей-нибудь меч…» – «Я не даю тем, кто попрошайничает, – сказал Руди, остановившись, – я даю тем, у кого взгляд пылает…» – «А у меня что, не пылает?» – спросил Микки. – «Нет», – ответил человек. Он лгал. – «Есть призванные и есть самозванцы, – продолжал Руди, пытаясь от него избавиться, – по тебе с первого взгляда понятно, что ты – самозванец, шпана, если я отдам тебе один из своих мечей, ты сразу же побежишь, чтобы загнать его подороже…» На самом деле инфан-

теро испугался этого обжигающего взгляда, он чувствовал его на себе, взгляд испепелял, он был гораздо сильнее, чем его собственный, когда он был еще молод. «Дай же мне хоть что-нибудь, что угодно!» – вцепившись в него, в пылу продолжил атаку Микки. Руди пожалел, что не взял с собой какого-нибудь помощника из квадрильи; пытаясь избавиться от чужака, он порылся в карманах и достал несколько монет, носовой платок и брелок, амулет, морского конька в прозрачном пластике. Он не колебался, выбирая, что именно подарить Микки, он протянул ему носовой платок: «Смотри, тут есть мои инициалы, – сказал ему Руди, – ты не зря тут канючил и тратил время…» Микки вырвал платок у него из рук и понесся прочь, как если б его украл.

Микки отыскал Радиатора, чтобы тот отвез его снова на эспланаду, где в это время кипели страсти: Забияки почти уморили одного водителя-новичка, который все-таки сдался и продал им прядь волос. Праздник перенесли на более раннюю дату, чтобы избежать наплыва всяческих прохиндеев, он должен был состояться на следующий день, и из того же источника стало известно, что пройдет он в имении хозяина арены Башки в южной части города, отправиться туда надо было на заре, чтобы не попасть в самое пекло. Микки размахивал платком, будто знаменем, пытаясь избежать обстрела камнями со стороны Забияк. После недавней добычи они несколько успокоились. Размахивая своей тряпкой, Микки кричал им, хотя и без этого все было слышно: «Это платок великого Руди! На нем есть инициалы! Вот здесь

написано, можете поглядеть… Он сам мне его дал… Я теперь его фаворит!» Забияки подошли к нему осмотреть улов: реликвию следовало присоединить к награбленному. Это оказалось настоящей сенсацией: в скором времени экспертиза установила, что платок действительно принадлежит великому Руди, поэтому все были крайне удивлены, ведь ткань была желтая, а инфантеро этого цвета всегда опасались из суеверия. Погибло столько жертв в те дни, когда среди золотого убранства сияющих одежд было что-нибудь желтое или когда слишком поздно замечали, что ограждения на арене выкрашены в этот проклятый цвет, или когда какой-нибудь безумный поклонник начинал махать желтой тряпкой. Следовало признать очевидное: носовой платок непревзойденного Руди желтее желтого. Какое циничное безрассудство им завладело, что он держал в кармане вещь именно этого цвета как раз накануне празднества, где его непременно попросят выступить? Несравненные, которым тоже показали платок, выказали высочайшее изумление перед трофеем Микки: не каждый день им выпадала возможность пощупать что-нибудь не поддельное, они ведь и знать не знали, что все их реликвии принадлежали великим инфантеро ровно в такой же степени, что и папе римскому. С появлением желтого платка все страшно зауважали Микки: Бананчик вызвался стать оруженосцем, приковылявший сразу Нарост объявил, что берет Микки под свое покровительство. Бананчик, для оруженосца слишком спокойный, расстроился, поскольку Микки представил ему Радиатора и сказал, что место уже занято. Беспрекословно уступив, Бананчик назначил себя первым помощником. Такой успех ненадол-

го вскружил Микки голову, уже почти не осталось времени, чтобы собрать квадрилью и поразить завтра всех, включая Руди, явившись в полном составе; час был ранний, работал лишь «Рудуду» – бар, о котором говорил охотник за головами, – где можно было нанять команду.

Кит был тут, среди остальных посетителей, одетый иначе, нежели тогда на дороге: серый костюм исчез, как и усы, если это вообще были его собственные усы, неужели из-за них мог так измениться весь его вид? Завидев Микки издалека в сигаретном дыму бара, Кит сдвинул брови и сразу отвел взгляд, показывая, что узнал его, но не хочет, чтобы их видели вместе. В «Рудуду» обходились без столиков: посетители стояли тесными группами, где проворачивали свои аферы, делали ставки и заключали пари. Микки заметил здоровенную копну, которую видел вместе с Руди в баре отеля: пресловутый Лобстер был единственным, кто сидел на стуле, поставленном специально для него в конце стойки, и официант между бокалами горького янтарного вина, густого, словно сироп, махал на него то черным веером, то – чтобы ускориться, поскольку сделали новый заказ, но все с той же почтительностью, – картонкой из-под бисквита. Казалось, Лобстер позабыл обо всех делах; зажав в огромных лапищах чемоданчик, он лишь следил за происходящим, присматриваясь к тем, кто решил выразить ему особое почтение, склонившись в реверансе или прошептав скабрезную тайну на ухо. Вскоре Микки уже различал, где какая группа, поскольку все они страшно старались быть непохожими на других: тут вертелась

целая квадрилья желавших найти работу, но все они были слишком ленивы, резались в карты, лепя бреланы себе на плечи, так что вряд ли могли соблазнить хозяина; болтались тут перекупщики, которые смели все возможные места, как только открылись кассы, теперь они принялись заламывать цены, перепродавая билеты друг другу; можно было легко разглядеть двух-трех представителей банды Несравненных; некто, выдававший себя за журналиста, сновал меж группами с блокнотом в руках, задавая на редкость тупые вопросы. Но Микки не успел осмотреть все до конца: к нему подошел какой-то человек. «Привет! – сказал он, затараторив. – Не узнаешь меня? Это же я, Сардинка». Микки был уверен, что никогда его не встречал. «Я – символ отряда Забияк!» – добавил Сардинка. «Какой странненький символ, – подумал Микки, – для таких-то сорвиголов!» Он явно был гомиком. Тем не менее Сардинка не врал: Забияки приняли его в стаю, потому что у него была тачка, красный фиат, выручавший их, когда ломалось сразу несколько мотоциклов. Сардинка был служащим и прекрасно подходил банде, по вечерам он переодевался, чтобы сойти в ней за своего. «Ну, а ты что тут крутишься?» – спросил Сардинка. – «Я пришел пополнить свою квадрилью, – ответил Микки, – у меня уже есть оруженосец, первый помощник и еще импресарио, но требуются, хотя бы на время, бандерильеро и пикадор, еще двое...» – «Платишь вперед, наличными?» – спросил Сардинка. – «Э-э-э... ну-у-у...» – затянул Микки в ответ Сардинке, который сразу понял в чем дело. – «Подожди-ка минуточку, – сказал Сардинка, – я тут со всеми в прекраснейших отношениях, вечно им помогаю.

Сейчас подыщу тебе нужных парней, а после договоримся...» Микки увидел, как Сардинка нырнул в толпу и заметался меж разными группками. Он встретился взглядом с Китом, который заговорщически ему подмигнул. Сардинка что-то обсуждал со странным типом, Микки вначале даже его не приметил, но теперь как-то слабо представлял его в составе квадрильи: тип один в один напоминал самого Сардинку, только одетого в дорогой выходной костюм, это был манерный верзила, который теперь постоянно отвлекался от разговора, бросая в сторону Микки тревожные взгляды, сочащиеся вожделением. Микки заметил, что человек этот что-то сунул Сардинке в карман, и тот сразу вернулся к нему: «Нашел тебе хорошего мужика! Значит, один у тебя уже есть. Кстати, ты ему нравишься...» Микки сразу понял, в чем дело, и без лишних слов убрался из «Рудуду».

Радиатор ждал в тени витого пробкового дуба и теперь сделал шаг в сторону, чтобы его стало видно под единственным на площади фонарем, который не разгрохали Забияки. Он ждал Микки, довольный собой, дрожащий, измучавшийся и разозленный, облизывал разбитую вздувшуюся губу, голова горела; прикрыв один глаз, он понял, что второй видит лишь нечеткое фиолетовое пятно: от удара веки разбухли и глаз заплыл; от рубашки остались одни лохмотья, в паху щемило от боли; отмудохали его знатно, все ребра пересчитали, однако он кое-что прятал у себя за спиной, рука его судорожно сжимала этот предмет с такой силой, что теперь будто бы одеревенела, он испытывал счастье, к нему подкрадывался легкий вете-

рок, чтобы стащить полученную в бою добычу, но он даже не замечал. Увидев окровавленное лицо и разорванную одежду брата, Микки отпрянул. «Он у меня! Он у меня!» – повторял Радиатор, таращась уцелевшим глазом. – «Что у тебя? Глаз выбили?» – «Нет, Микки, я его достал!» – «Да что ты там такое достал?! – выходя из себя, вопил Микки. – Тебя всего изуродовали, понимаешь ты или нет?! Тебе что, мозги вышибли?!» – «Я достал тебе кладенец,

придурок ты эдакий! – выпалил Радиатор, смеясь от радости, медленно вытягивая руку с зажатым в нею орудием. – Тот, из проволоки, теперь можно выкинуть!» Увидев меч, Микки позабыл о голоде, об усталости, о том, кто он такой. Казалось, он сейчас рухнет наземь, ан нет, он взмыл в облака, потерял всякий вес, рука его обхватила увесистую рукоять и будто слилась с нею, измученная долгими мучительными поисками. Микки шел, задрав голову в ничтожном шлеме, глядел на звезды, стремясь выполнить долг, о котором ничего не ведал. Он устремился к вереницам машин, вновь ускользнув от брата и так его и не поблагодарив.

Выбрав грузовик, в котором было потише, Микки приподнял мечом брезент. Во время транспортировки детей связывали, надев удила, крепившиеся на затылке к металлическому ошейнику, во рту был кляп из тряпок, сухой травы или бумажных обрезков, что не мешало им при этом урчать и фыркать, от резких толчков они падали друг на друга и ударялись о стенки кузова; когда машина останавливалась, они затихали, проваливаясь в недолгий сон, или же пользовались моментом, когда движок замирал, чтобы стучать

и грохотать по железу ногами, выпутавшимися из веревок, надеясь, что их кто-нибудь услышит и смилостивится, но у большинства водил с правами все было в порядке, и не существовало такого закона, который бы предписывал освобождать пойманных детей, не получив своей подати с их плоти и крови. Микки направился к кузову, откуда не доносилось ни звука, он рассчитывал застать детей спящими, чтобы дело пошло проворнее. Под брезентом был крепившийся к корпусу металлический каркас из прутьев, за откинутым пологом зияла тьма, откуда страшно воняло сеном, мочой, гноем из глаз, загаженными лохмотьями, всеми ночными кошмарами. Микки откинул брезент еще больше: тьма, хоть глаз выколи; он подумал, что ему, как всегда, не повезло и он выбрал пустой грузовик; он уже собирался опустить брезент, как вдруг различил чье-то сбивчивое дыхание, кто-то вздохнул, довольно громко, поскольку с того момента, как меч начал шарить, отыскивая в брезенте петлю, чтобы зацепиться, этот кто-то совсем затаился и перестал дышать; Микки склонился во тьме: рядом мерцало что-то белое и живое, оно прерывисто моргало в такт своему дыханию, на мгновение всю сцену озарила зеленая вспышка, позади существа, в противоположной стороне кузова кто-то царапался, возился, время от времени слышался сдавленный стон. Но существо перед Микки снова затихло и перестало дышать. Оно неотрывно глядело на Микки, различившего пряди гривы еще более черной, нежели тьма, в которой это существо замерло без движения. Микки сгреб в сторону ткань, откинул мечом легко подавшийся затвор; существо, разгоняя насекомых, выпрямило ножки и потер-

лось о железяку. Микки увидел лицо ребенка: первым, что бросилось в глаза, было белое тусклое пятнышко, на темном фоне оно выделялось даже сильнее, нежели мерцающий взгляд, это была отметина на лбу, нарисованная как будто мелом звезда с расходящимися лучами. Микки убрал меч за пояс и, схватив за ноги, притянул ребенка к себе. Кляпа во рту у него не было, однако ребенок молчал. Микки взял его на руки и отнес к мопеду,

там амортизационным шнуром привязал к себе спереди, чтобы ребенок уж точно никуда от него не делся, обмотал его и себя еще раз веревкой. Он мчал его туда, где не будет вообще ни души, чтобы опробовать новый меч, подальше от эспланады, подальше от Забияк, чтобы был только он и ребенок. Луна освещала окрестности пурпурным светом. Путь был не долгим; когда Микки принялся ребенка отвязывать, белое тельце повалилось к его ногам бездыханное, сражаться с ним было уже невозможно, жизнь из него только что выпорхнула.

Микки был в бешенстве, он смерчем пронесся по эспланаде в поисках Радиатора, затем метнулся к гостинице, где ночевал Руди. Было уже очень поздно. Он остановился возле отеля, но сойти с мопеда не пожелал: он будет ждать здесь столько, сколько потребуется, спать он не собирался, пихнул Радиатора в бок, чтобы тот слез с мопеда. Радиатор устроился рядом на мостовой, словно собака. Стало потихоньку светать. Появлялись служащие отеля, приехавшие на раннем поезде. Один из них принес булочки, круассаны, бриоши в плетеной корзине, но даже это не могло отвлечь

Микки, охваченного идеей фикс. Он не хотел смотреть на свое лучезарное одеяние, которое Радиатор только-только закончил на автостоянке перед тем, как раздобыть меч – все это вздор, пустяки, его волновало только одно: таинственная, волшебная сила, из-за которой теперь тряслись руки и блуждал обезумевший взгляд, именно о ней он так долго мечтал. Даже меч за поясом от нее словно бы запылал, Микки изогнулся, продолжая сидеть на мопеде, и сунул меч за воротник, затем продел в рукав, словно собираясь наложить себе шину, мышцы опалило холодом, кисть сжалась еще сильнее. У входа появился Руди – чуть раньше, чем он ожидал, – было семь утра. Микки, не хотевший вставать с мопеда, смачно плюнул на Радиатора, который за это время успел во сне отодвинуться. Инфантеро облачился в блистательные одеяния гранатового цвета, отделанные золотом, вокруг в полном составе красовалась его квадрилья: оруженосец, два помощника, бандерильеро и пикадоры, все в боевых костюмах. Как только Руди показался на ступенях отеля, все пошло очень быстро: у входа затормозил черный лимузин, Руди сразу же в него сел, вослед устремились все его спутники, зажавшие меж собой знаменитость. Мопед взревел, из выхлопной трубы рванул дым. Микки уже не боялся, что Руди его заметит, напротив, он этого хотел. Он обругал Радиатора, который начал просыпаться лишь тогда, когда Микки харкнул на него второй раз. Брат запрыгнул на мопед, в то время как Микки уже вовсю жал на газ, стремясь вослед лимузину, а потом и обгоняя его. Однако он не мог держать скорость на большой дороге и, пока Микки сбавлял ее, поравнявшись с лимузином, а парни из

квадрильи потешались над его удалью, Радиатор, зажатый меж бедер Микки, старался высвободиться и перебраться ему за спину; воспользовавшись тем, что мопед стал ехать медленнее, он ухватился за номерной знак лимузина и ехал, не выпуская его из рук. Микки перестал жать на газ, теперь они мчались на холостом ходу, Микки смеялся.

172

Забияки, Несравненные и другие соревнующиеся между собой местные отряды взяли штурмом имение Башки, прислуге был отдан приказ сопротивления не оказывать. Грязные проходимцы мешались с изысканными гостями, воздерживаясь от злобствований и насмешек и стараясь не прикасаться к тем, по кому не скакали блохи: они прекрасно помнили, что их предшественников здесь встретили автоматными очередями. Солнце палило нещадно, над бессчетными сервированными столами раскрыли огромные белые уличные зонты, располагавшиеся вкруг тента, простертого над верандой. Мажордомы в белых перчатках делали вид, что ничем не заняты. Повсюду уже заметили и теперь обсуждали отсутствие Башки, стараясь не нервничать и указывая на его супругу, принимавшую самых именитых гостей. Некоторые объясняли ситуацию высочайшим присутствием – Руди был единственным выдающимся инфантеро, свободным до начала сезона, – присутствием его импресарио, ужасающего Лобстера: рассказывали, что Башка и Лобстер как-то раз подрались, чуть не зарезав друг друга бритвами, сошлись, судя по всему, на ничьей, но с той памятной потасовки никто больше не видел

их вместе. Башка повелел возвести свои владения на развалинах средневековой арены, среди сохранившихся кое-где прежних колонн вокруг площадки с песком цвета охры, все это он укрепил, возведя каменные ярусы, в качестве сидений их никогда не использовали, – традиция продолжалась, – во время соревнований публика стояла рядами позади ограждений. Проникнув в имение, шайки новичков и тех, кто себя таковыми считал, отделившись от благородной толпы, кучковались в каком-нибудь дальнем углу, меж подмостками и трибунами, по-тихому обсуждая непредвиденные ситуации во время празднеств; сумев пробраться в столь узкий круг, они страшно собой гордились и даже не думали вести себя вызывающе; богачи же, приметив, что от них странным образом не исходит никакой опасности, пользовались случаем и обращали в шутки тот страх, который вызывали в них люди подобного сорта. Они развлекались в конце пирушки, отправляя им с мажордомами на картонных тарелках остатки уже отведанных яств. Их веселило то, как голодные, почти не церемонясь, набрасывались на еду. Микки единственный смотрел на все это с презрением, несмотря на голод, он запретил Радиатору прикасаться к этим тарелкам. Их появление вместе с командой Руди вызвало бурю эмоций; Руди уже утомился от их шутовских выходок, но из суеверия не просил помощников избавить его от двух паразитов. История с желтым платком была еще свежа в памяти, Забияки и Несравненные думали, что Микки – давнишний любимец мэтра, раз он находится во время приема среди его свиты, каждое движение которой теперь комментировали присутствующие журналисты. О личной

жизни Руди ходили разные кривотолки, поскольку он был чуть ли не единственным инфантеро, не заключившим официального брака. Забияки и Несравненные следили за происходящим издалека столь же внимательно, как если бы сами работали хроникерами. Они видели, когда принесли картонные тарелки с остатками, что Микки вышел из тени великого инфантеро, словно бы демонстрируя солидарность и отказываясь прикасаться к еде. Уплетая за обе щеки, Несравненные с Забияками решили, что в этом был какой-то особый шик. Зазвучали трубы: детей должны были выпустить на арену, толпа благородных гостей поспешила занять лучшие места возле колонн, Руди со всей компанией скрылся. И здесь, опять-таки, Микки не побежал вместе со всеми поближе к арене в мятущейся сытой толпе, словно его отделяло от присутствующих какое-то облако. Он чувствовал, что тут опять дает о себе знать его слабое место, и шанс вот-вот будет упущен. Он был в двух шагах от самой большой удачи и в двух шагах от того, чтобы все потерять. Меч у него в рукаве вибрировал, он словно бы превратился в кровеносную вену: Микки опустил глаза, увидел, что острие продырявило ткань, он был неосторожен, кто-нибудь мог его меч заметить. Он подумал было прикрыть лезвие рукой, но теперь было все равно: никто уже больше не обращал на него внимания, все с нетерпением ждали появления на арене великого Руди. Высоко подняв голову, чтобы как-то осмотреться, собравшись с мыслями, Микки решил, что все же ему не везло: первый пойманный им ребенок буквально выпал у него из рук несколькими часами ранее, а до этого была целая череда несчастий – изгаженная одежда в

могиле Каймана, гидроцефал, который дразнил его и высовывал свой язык… «К счастью, – подумал он, – что все еще в кармане медвежья шерсть, что бы вообще со мной сталось, если бы не она!» Ему захотелось проверить, по-прежнему ли клок шерсти, подаренный Украдкой, лежит в кармане, как было при каждой напасти. Из-за меча, спрятанного под одеждой, рука не могла согнуться; Микки, весь скрючившись, попытался залезть в карман другой рукой. Пальцы коснулись шерсти, и он, почувствовав отвращение, вдруг со всей ясностью понял, что талисман и есть причина всех бед, он бросил медвежью шерсть наземь. В этот самый момент на арене появился великий Руди; никогда прежде Руди не ощущал всем телом такого страха: страх больше не походил на следствие афродизиака, не вызывал в нем знакомого возбуждения, которое уже столько раз превращало его в зверя, жаждущего свежей крови, это был ошеломляющий, уничтожающий, смертельный ужас.

Руди в этот раз пренебрег тем, что накануне вечером его лакей по традиции направился в загон с детьми, подготовленными к сражению, чтобы потом рассказать ему поподробнее об их физической развитости, их параметрах, нравах и о том, как они вели себя в клетках – стояли спокойно или же буйствовали и старались разорвать путы. Уверенный в своем деле, он счел такую разведку напрасной, – в этот раз лакею не требовалось присутствовать на жеребьевке, где обычно распределяли детей меж тремя инфантеро, а слуга должен был наблюдать за тем, нет ли каких подтасовок со стороны заводчика или

импресарио, – поскольку нынче Руди – один и должен побороть всех шестерых, без перерывов и пауз, своими сильными руками должен свершить шесть казней, будучи храбрым и стойким, как все великие. Казалось, в этот день дети будто бы не в себе, и их безумное поведение, вместо того чтобы распалять Руди, наоборот, как-то его расслабляло. Публика ждала, когда же можно будет прокричать приговор, уверенная, что инфантеро пока не выкладывается в полную силу лишь для того, чтобы продемонстрировать ее позже во всей красе и с невиданным мастерством, которое вызовет всеобщий восторг. Микки не отрывал глаз от Руди: сражение, на котором он присутствовал первый раз в жизни, зная все правила наизусть по учебникам и чужим рассказам, вызывало в нем явное неприятие. Он потерял сознание, когда измученный ребенок оказался перед самым мечом и тот как-то неумело, скованно бил по беззащитным бокам, ребенок на шатающихся ногах поднялся, и пришедшая в смятение публика увидела, как из пореза внизу живота выпрастывается малинового цвета гроздь, и никакой грязи, никакого дерьма, как можно было бы предположить, никакой даже крови не было видно, гроздь эта была невероятно чистой, свежей, даже живописной, можно сказать, ребенок глядел на нее с удивлением, затем взял ее в руки, пытаясь отнести в пыли куда-то подальше отсюда, молча упал и подставил затылок клинку. Руди освистали; очнувшись, Микки принялся думать, что искусство, которому он хотел себя посвятить, – какое-то постыдное, неприличное. Он испытывал страх, страх этот был словно дивный яд, потоками разливающийся по артериям, словно бабочка, трепещущая в

коконе сердца, страх в нем ширился, бил во все стороны, чтобы заполнить его собой, превращая в кого-то другого, в какое-то крылатое существо, в ангела, который теперь обитал в его прежнем теле, он шуршал, ворочался где-то внутри, вызывая жар, жар все возрастал, словно в ожидании того, что оболочка наконец-то прорвется, опаленная очарованием этой жути, что свершится в этой лихорадке необходимая ему химическая реакция. Он был «готов», он чувствовал, что его так и толкает выскочить на арену. Но в голову пришла мысль, отвлекшая от такого намерения, он стал подсчитывать: трое суток он не спал, трое суток не ел, ноги еще как-то держали, но, если он сейчас рванет в бой, то в скором времени упадет на песке без сознания, быть может, вся его история – одна лишь вереница несчастий. Он вовсю глядел на площадку, следя за каждым движением Руди, казалось, их глаза встретились, инфантеро словно подавал ему знак, призывая: «Давай же! Иди скорее сюда! Прыгай! Помоги мне!» Казалось, Руди теряет все свое мастерство, словно кровь вытекает из раны; казалось еще, что все его жесты и выпады, со стороны вроде бы ничем не ограниченные, но на самом деле подчиненные четкому плану, устремлены к единственной страстно желаемой цели: потерпеть поражение, дождаться провала, ощутить чарующее, сладостное избавление от всего. Сильный порыв ветра вырвал плащ из рук Руди, швырнув его в отдалении и дав ребенку возможность передохнуть и пойти в атаку, взъерошил в первых рядах шиньоны, посеял меж публики нервный трепет. Микки устремился к арене, вырвавшись из рук брата, который хотел удержать его от надвигающейся катастро-

фы. Прыгнув на арену и подняв облако пыли, он чувствовал, что сросся с оружием, рукоятка меча выпирала под тканью, одним движением он разорвал рукав и высвободил верный клинок, наставленный вначале на Руди, словно то был соперник, потом он повернулся к нему спиной, как если б соперник оказался не заслуживающим внимания, и пошел к ребенку, с которым великий мэтр так долго манежил, чуть ли не собираясь начать беседу. Руди, разгневавшись, что из-под носа уводят добычу и мешают совершить второе смертоубийство, пусть и не столь эффектное, призвал на выручку шайку, чтобы та вышвырнула Микки с арены. Но толпа за него вступилась, прогоняя прочь всех пособников. В этот момент никто уже не понимал, что творится на самом деле: Микки почудилось, что он на короткое мгновенье уснул, что он очнулся на арене, будто в уютной походной постели, но глаза его были широко раскрыты, он замер напротив ребенка; толпа не знала что и думать; журналисты замерли над блокнотами, не в силах описать творящееся, оно явно превосходило все их способности. В действительности же ничего не происходило, и все отточенные приемы мэтра не имели теперь никакого значения, поскольку он только что познал невероятную сладость провала, он ею наслаждался, он с нею заигрывал, нарочно принимая карикатурные позы вместо тех, которые принесли ему великую славу и которые публика жаждала теперь видеть снова во время бессмысленной пантомимы. Изнуренному до предела Микки вся эта клоунада казалась исполненной невероятного изящества. Негодующая публика словно бы захмелела, чувствуя, что происходит переворот, ликуя от кровопроли-

тия, дозволенного законом. От Микки не требовалось ничего особенного, он просто по воле случая попал в мясорубку всеобщего лицемерия и предательства. Руди, в котором проснулся мятежный инстинкт выживания, стал аплодировать Микки, выдавая себя за его покровителя. Ребенок, охваченный чарующим притяжением, что по загадочным законам сопутствует рождению новой звезды, кинулся прямо под меч, подставляя затылок и позволяя ударить меж шейными позвонками именно так, чтобы смерть получилась красочная, показная, никем доселе невиданная. Перед тем, как раздались аплодисменты, когда ребенок уже кончался, какая-то женщина, стоявшая возле колонны, в крайнем возбуждении вдруг сбросила с себя платье и кинула его Микки, демонстрируя неописуемый восторг. Не успев опомниться, Микки оказался сидящим на плечах Руди, бежавшего по кругу арены, и размахивал платьем, будто знаменем, на них обрушился град алых цветов и бурдюков с наливками. Люди отвлекались только, чтобы прошептать друг другу: раздевшаяся в знак почтения перед новичком-инфантеро особа, закутавшаяся теперь в мантилью, была либо чокнутой, либо принцессой. Лобстер – импресарио Руди, уставший и раздраженный, ждал, когда же можно будет и ему явиться на сцене и приоткрыть чемоданчик, и так уже набитый деньгами: настоящий профессионал, он знал, что Микки прославился помимо собственной воли и такого успеха больше не повторится; все же, как знаток своего дела, он не мог пройти мимо подобного случая.

«Тебе не стоит здесь оставаться», – сказал Лобстер Микки. – «Пойдем отсюда», – добавил он, обращаясь к Руди. – «Он мог бы тебя подучить, – продолжил Лобстер, указывая Микки на Руди, – когда производишь где-нибудь сильное впечатление, то потом лучше исчезнуть, не успев никого разочаровать, и не препятствовать слухам, какие бы они ни были – правдивые ли, лживые ли, – ничего не опровергая и давая им сделать из

тебя подлинную легенду; показываться при этом на публике как можно реже – вот в чем секрет, правда, Руди?» Молодой мэтр решил проявить к новичку особенную сердечность: положил ему на плечо руку, перед этим заботливо повязав на его талии расшитое черными блестками платье сумасшедшей принцессы. Микки не хотел просыпаться, боялся, что сон закончится. «А еще у нас с тобой будут исключительные права на фотосъемку, – продолжал Лобстер, – это важно, за таким надо следить, деньги потекут рекой отовсюду, вплоть до Японии, правда, Руди?» Лобстер отправился потихоньку разыскать жену своего соперника, мадам Башку, чтобы предложить ей приостановить сражения и отпраздновать с шиком такой фарт его нового подопечного. Он хотел растопить лед в тех отношениях, что шатко-валко сохранялись меж ними последние двадцать лет, взвесил все за и против и решил, что игра стоит свеч: прежде всего, очевидно, что Руди не в лучшей форме и следует сделать так, чтобы все об этом забыли; но может быть и еще хуже, если Микки потерпит неудачу со вторым ребенком и уступит место победителя Руди; что касается Микки, его надо сейчас увезти, похитить, чтобы взвинтить ставки перед следующим выступлением. «Пони-

маешь, – втолковывал ему Лобстер, – тогда получится, что одни успели тебя разглядеть собственными глазами, другие только едва заметили из-за чужих спин, третьи просто оказались в том же самом месте, где был и ты, четвертые будут только так говорить, пятые никогда тебя не видели и здесь не были, но после всех кривотолков им будет казаться, что они прекрасно тебя знают, поэтому они станут тебя любить, а от тебя при этом ничего и не требуется, ты просто следуй моим советам, и все случится само собой, а то, что само собой случиться не может, сделаю я, тебе ведь нужны деньги? Наверное, тебе даже хочется много денег, потому что их у тебя никогда не было? Тогда возьми, ты их не украл, ты заработал, ты хочешь есть? Мы отведем тебя отведать кушаний, которые в тысячу раз изысканнее, чем те, которые здесь только что подавали, правда ведь, Руди, что у меня прекрасно кормят? Ты хочешь спать? Я провожу тебя к нежнейшей постели в шикарнейшем из борделей, правда ведь, Руди, все это просто невероятно, и глупо отказываться, когда оно само плывет тебе в руки?» Лобстер посчитал, что ему выгоднее подключить к делу и Руди: во-первых, чтобы не ревновал; во-вторых, чтобы авторитет мэтра, хоть он чуть-чуть и снизился, все же воздействовал на ученика, вызывая в нем братское почитание и ставя некоторые ограничения. «Руди раскроет тебе свои тайны, правда, Руди? – продолжал Лобстер. – Вот увидишь, Микки, тайны Руди дорого стоят!» Микки признался Лобстеру, что квадрилья частично уже подобрана, импресарио не имел ничего против, он протянул Микки подписать какие-то бумажки и после передал через него брату и чистильщику башмаков боль-

шой задаток: «Тебе остается сказать им, что с такими деньгами могут отпраздновать, где захотят. А завтра ближе к вечеру пусть подходят к отелю „Реджина“, когда ты как следует выспишься, мы с Руди тебя заберем…» И все трое – низенький посредине – уселись в лимузине на заднем сиденье. «Поедем, посмотришь на подарок, который я для тебя приготовил!» – сказал Лобстер Микки.

182

Автомобиль затормозил под раскидистыми приморскими соснами на одном из городских холмов возле здания в стиле XVIII века. «Видишь? Вот это и есть настоящая легенда! – сказал Лобстер Микки, притягивая его к себе, чтобы он мог разглядеть за окном виллу. – Знаешь, что рассказывают об этой халупе? Говорят, что ее вовсе не существует. Или же, что она существует, но по распоряжению полиции уже лет десять стоит заколоченной. Что она мне никогда не принадлежала. Что здесь помер от апоплексического удара один епископ. Что все поддельное и внутри, и снаружи. Что датировать ее XVIII веком все равно, что сказать, будто я – нищий. Что внутри живут одни шлюхи. Что сюда приезжают трахать те трупы, что привозят с арены… Половина из того, что о ней говорят, – неправда. Потому что она – легенда… Есть такие, что однажды в ней побывали и могут кое-что рассказать. И такие, которые, поддавшись очарованию виллы, потеряли дар речи и все позабыли, пребывая почти все время в бесчувственном состоянии… Рассказывают, здесь угощают разными напитками… Есть такие, которые за свою ложь берут деньги; которые никогда здесь не появлялись, и такие, что здесь бывали, но

с тех пор думают: все это им приснилось… Есть такие, которые утверждают, что это всего лишь часовня! Простая часовня! Но в ней, дескать, возжигают фимиам, от которого потом возникают галлюцинации, а на витражах изображены непристойные сцены… Быть может, эти как раз и недалеки от правды, но все же и они ошибаются… Сам я скажу тебе, что дом этот – воплощенье моей мечты и все хитрости, все уловки, скрытые тут по разным укромным местам, придумал я самолично… Поэтому толкуют, что я весь во власти порока или охвачен жаждой наживы, или что я во власти порока захвачен жаждой наживы, и все это только для того, чтобы иметь возможность содержать вот эту химеру со всеми танцовщицами, кстати, они очень красивые, сам увидишь, правда ведь, Руди? Толкуют, что я снюхался с мафией, сговорился с правительством и полицией… Но я единственный, клянусь тебе, кто имеет право поставить свою эмблему на этом фасаде или на зеркалах внутри… Я единственный, только я один…» Лобстер вел двух протеже навстречу своей воплощенной мечте, еще не стемнело, и на удушающей предвечерней жаре под соснами на холме едва становилось легче, ласточка с синим брюшком летела за ними до самых дверей борделя.

«Быть может, еще не время, – сказал Лобстер, взглянув на часы и машинально приветствуя консьержку у входа, – мы пришли чуть пораньше, но это без разницы. В любом случае, предупреждаю: ты не должен смотреть на них так, как привык смотреть на все остальное, – продолжал он, обернувшись к Микки, – ты не должен

смотреть на них, как на что-то живое, представь, что все это – статуи, которые по приказу выстроились для вас по стойке смирно или же застыли навечно после волшебного поцелуя...» Проход скрывался в складках большого занавеса из черного бархата, который колыхался, предупреждая о визите гостей, на ощупь пытавшихся определить, как же пробраться внутрь, и вдруг перед ними представало пространство, удивлявшее округлой формой, что было крайне неожиданно, поскольку входили они в здание, выглядящее снаружи почти как куб. Помещение, походившее на шахту, было обустроено в башне, где сломали старые перегородки и потолок, от вида всего этого голова сразу начинала кружиться, обычных лестниц здесь не было, подниматься следовало по спирали, шедшей то круто, то плавно, до конического стеклянного купола, снабженного скользящими занавесями, которыми никогда не пользовались, свет проникал снаружи, днем и ночью почти одинаковый, естественный, приглушенный; зал предназначался для экспозиций, кое-где стояли высокие ширмы, скрывавшие бесхитростные туалетные принадлежности, на створках висели позабытые детали одежды, куски материи, из которой скручивали тюрбаны; ноги утопали в ровном слое поблескивающего песка; в центре были расстелены восточные ковры, по углам которых вместо камней лежали разные вещи, чтобы ковры вдруг не взмыли в воздух, – бабуши, пустые ножны, на которых, словно на комоде, выстроились в ряд помазок, бритва и стаканчик для чистки зубов; по периметру зала к стенам крепились подвесные деревянные скамьи, где в отдалении могли сидеть разве что редкие сонные слуги в

серых костюмах, проводящие бесконечные часы в ожидании и штопающие лежащую на коленях одежду, в которую им приказано вновь облачить господ; статуи, которых Лобстер описал Микки, представляли собой полуобнаженных здоровенных парней, лениво разлегшихся в наполовину скрывавших их огромных креслах; окутывали их тени, похожие на бархатные шали или плащи; в томной обстановке, то там, то здесь в сумраке белели чьи-нибудь вытянутые ноги, на которых проступали синеватые вены, массивные ступни покоились в серебристой пыли; тени пролегли и вдоль стен, гнездясь в небольших нишах, задернутых занавесями, похожими на величественный занавес у самого входа и скрывавшими нечто неведомое; порой одна из статуй, двигаясь медленно, словно в дурмане, поднималась и шла, пошатываясь, к такой нише, чтобы ненадолго скрыть голову под занавеской; ниши эти с колышущимися пологами, казалось, никуда не ведут и устроены лишь для удобства; в одной из них, довольно широкой и глубокой, бросавшейся в глаза, стоило только ступить на арену, располагалась статуя Девы, облаченной в одеяния инфантеро: бедра обтягивало мерцающее трико, розовые чулки обхвачены репсовыми подвязками, внизу черные мягкие туфли, ноги связаны, словно скоро должна состояться казнь; розово-черное болеро, прилегавшее к складкам пояса, расшито золотыми блестками и украшено гирляндами желудей, крепившимися к эполетам; вместо того, чтобы благословлять, рука словно сбрасывала покров, который специально был накрахмален и удерживался крепившейся к углам невидимой леской, что терялась под фризом; словно плащ инфантеро, он прятал

собой того, кто пришел отогреться возле мерцающих свеч, горевших у подножия статуи; было ясно, что – это статуя Девы, а не обычного инфантеро, поскольку болеро облегало женскую грудь, а окаймлявшие овал лица белые ленты, прятавшие под собой шевелюру, напоминали те кружева, которыми украшали изображенья святых. Задрав голову, Микки взглянул на купол: на него со всех сторон изучающе смотрели лица, утратившие мертвенную бледность статуй и более оживленные, казалось, они подают ему знаки, неслышно шевеля губами, чтобы он к ним поднялся; кое-где на перилах висели, словно просушиваясь, алые ковры и фиолетовые с розовым подбоем плащи инфантеро.

Лобстер вместе с Руди подталкивали Микки поближе к заспанным статуям: «Выбери, кто тебе больше нравится, это и есть мой подарок, наш с Руди подарок, ты можешь приказывать ему что угодно, он полностью в твоем распоряжении!» Микки запротестовал: «Так это и есть тот сюрприз, о котором вы говорили?! – сказал он Лобстеру. – Вы обещали, что можно будет поесть!» – «Поесть можно в комнатах наверху. Но стоит тебе прикоснуться к тому, что предлагается здесь, стоит только отведать этой нежнейшей плоти, как тебе больше не захочется привычной пищи, эти тела сумеют утолить твой голод, ты насытишься от одного только поцелуя, от одной только ласки, ты утолишь свою жажду и опьянеешь, словно от божественной медовухи, правда, ты пока не можешь этого знать, поскольку ты такого еще никогда не пробовал. Итак, кого ты берешь?» Микки, казалось,

совсем не интересует такой подарок, и все же он ходил то туда, то сюда мимо одного из кресел, ему стало вдруг любопытно: юноша, несколько моложе всех остальных, казалось, уснул крепким сном; средь мрака, что окружал этого юношу в кресле, в самом лице было что-то, отличающее его от всех остальных, Микки никак не мог понять, что это, но вдруг заметил белый отблеск на лбу, как у того мальчика, которого он украл, там красовалась звезда. «Ты этого хочешь, да?» – спросил Лобстер, плотоядно заулыбавшись. «Нет, – ответил Микки, – я его не хочу, просто смотрел...» Микки ждал момента, когда станет видно, что юноша дышит, ему показалось, что тот мертвый. Юноша во сне вздохнул. «И остальных тоже не хочется, – добавил Микки, – я очень голоден». – «Что ж, тогда Руди тебя проводит, – сказал Лобстер, стараясь скрыть раздражение, – ведь так, Руди?» – «Конечно же, провожу!» – ответил прославленный мэтр и повлек подопечного, который уже не смел отказываться, к шедшей спиралью лестнице, оставляя Лобстера внизу на арене.

«Здесь, – объяснял Руди, – двадцать любовных опочивален, – он развлекался, складывая гадалку-оригами из найденного в кармане клочка бумаги и рисуя на треугольных гранях разные символы, – в одной из них полно дымящихся головешек, которые время от времени раздувает покорный слуга, смахивающий на японца, что угождает господам на старом постоялом дворе, он беззвучно приходит проверить температуру купальни, так художник часами напролет пытается отыскать нужный оттенок красного, волшебные чары позволяют

возлечь на распаленные головни, не обгорев, угли пламенеют, но теплом своим услаждают, ими выстлано нежнейшее ложе, в котором лучше укрыться вдвоем; есть также покои, где по полу разлито всегда свежее молоко, его приятно лакать, и два голодных рта могут, соревнуясь, утолить там свою жажду, там можно плавать, омывая все тело в молочной реке, и ничего больше не надо, сплошные грезы, скользящие под потолком такого же молочного цвета; есть комната с призраками тех, кто уже вырос, на недолгое время они вновь воплощаются такими, какими были, когда в первый раз пленили пришедшего гостя; дальше расположены спальни, на которые обрушились бури песка и снега, чтобы исстрадавшееся тело отдохнуло средь дюн и сугробов, на самом деле там тонны сахарной пудры, похожей на снежную пустошь или барханы, но об этом будешь знать только ты; есть комната, где цветные блики от витражей множатся, словно звуки хора в чистом воздухе прекрасного утра, дабы ты мог вдоволь надышаться кислородом, когда впереди удушающие темные ночи; в двух комнатах уже живут, и там средь холмов и оврагов можно расслабиться, словно в мягчайшей постели; существует сожженная комната, в которой пахнет костром, в ней гостя охватывает странный покой, что следует за катастрофой и наполняет сердца пожарных, когда огонь уже побежден; дальше располагается комната без окон и стен, возведенная столь хитроумно, что там ты воспаришь средь вечернего пейзажа, мерцающего серебристыми, золотистыми бликами; забыл сказать о запертой комнате, внушающей надежду всякому, кто смотрит на неприкосновенную зелень джунглей через

небольшое окошко на чердаке; еще есть спальня, составленная из бумажных ширм, меж которыми произрастает лишь самое стойкое; у ложа в комнате девятнадцать лежит охапка редких растений и сорняков, соединенных так, чтобы получилось самое изящное сочетанье оттенков, а на стене застыла морская звезда, возжелавшая забраться повыше; в двадцатой комнате остался только один иероглиф, свидетельствующий о том, что происходило когда-то прежде, говорящий о былой похоти языком древних символов; пересчитай сам, если хочешь; быть может, о каких-то комнатах я позабыл; в каждой комнате играют по своим правилам, по каким именно – выбирать тебе, как и соответствующий костюм, в какую из них ты хочешь отправиться?[4]» – спросил Руди, просунув пальцы правой руки в бумажную игрушку, чтобы посмотреть, какие варианты выпадут с той и другой стороны. Микки вновь не мог ни на что решиться. «Да мне плевать, – сказал он Руди, – мне бы хотелось отправиться в спальню, в которой ничего нет, в пустую комнату без рисунков и без декораций, без ловушек и без подвохов, в пустую коробку иль логово, где мы могли бы с тобой запереться…» Микки чувствовал, что Руди весь уже изнемог, что его тянет к Микки ровно так же, как прежде тянуло брата, когда тот вставал на колени, чтобы вдохнуть аромат его хуя, и он не знал, как от такого избавиться.

4 Перечисляя волшебные комнаты, Гибер подробно описывает снимки своего друга, фотографа и писателя Бернара Фокона (р. 1950), вошедшие в альбом «Покои любви» *(Chambres d'amour)*, выпущенный издательством *William Blake & Co*.

С того времени, как он вышел из гостиницы, Руди был в своем светозарном одеянии. Войдя в пустую комнату, куда так хотел Микки и где стояли только софа и стул, Руди принялся раздеваться, сняв вначале корсет и развязав галстук, затем попросив Микки помочь ему избавиться от сдавливающего пояса, смотав длинную полосу белой ткани; жабо само повалилось на пол, рубашка была наполовину расстегнута, теперь на нем оставались лишь облегающие короткие штаны на подтяжках, чулки и мягкие туфли; Руди складывал вещи, сначала отставив руку и прищурившись глядя на Микки, прикидывая на расстоянии, пойдут ли они ему и того ли они размера, и только потом, встряхнув, клал все в стопку на стуле, тщательно следя за порядком, чтобы было удобнее облачаться вновь; к примеру, прежде следовало сложить рубашку и только потом – штаны. Казалось, одежда мэтра никак Микки не занимает, он подозревал, что Руди хочет ему отдаться, и, пытаясь отсрочить момент, пустился в расспросы. «А ты – человек суеверный?» – начал он. – «Конечно, – ответил Руди, – на свой лад. Я не считаюсь с приметами, стараюсь воспринимать их наоборот: все вот боятся желтого, считают его злосчастным предзнаменованием, – расставленные без всякого умысла желтые заграждения вокруг арены, мелькнувший меж зрителей желтый зонтик, для остальных – это предвестие скорой беды, они винят в этом случай или же импресарио стороны соперника, который, должно быть, нарочно вложил в руки безвестной дамы в первом ряду знак близящейся потери, такая одержимость отвлекает их от самого главного, и мы теряем лучших болельщиков; никто об этом не знает, –

Руди вывернул болеро наизнанку, демонстрируя Микки подкладку, – я развлекаюсь тем, что делаю все наперекор, чтобы освободиться от страха, чтобы тот вышел изнутри вместе с потом, не лишив меня силы: я пришиваю к изнанке костюма желтые лоскутки и картинки, я пришиваю их даже в таких местах, как...» Микки отступил, вернувшись на прежнее место поближе к софе и стоя там в перемазанном рубище проходимца, весь забрызганный кровью, приведшей его к победе, и с повязанным на талии платьем безумной поклонницы. «А всякие картинки, – продолжил он, – тебе тоже нравятся? Ты сооружаешь из них в своей спальне перед сражением небольшой алтарь, чтоб перед ним помолиться?» – «Все в точности наоборот, – ответил Руди, – никакого алтаря я не строю, а картинки презираю, все цветастые завитушки с изображениями святых, которые мне пачками, только что доставленными из типографии, суют Лобстер и оруженосец, я не целую, а выкидываю в уборную и сру на них, это единственное средство одержать победу...» – «Да что ты?!» – воскликнул Микки, будто не веря. «Да, – продолжал Руди, – но есть приметы, которым я доверяю, если что-нибудь такое случается, я стараюсь предотвратить беду, весь трепеща от страха: к примеру, если дорогу переходит черная кошка или на арене перед состязанием появляется какой-то церковник, то это явно дурной знак, я сплевываю и скрещиваю пальцы; еще по дороге к арене никогда нельзя идти мимо кладбища, нельзя класть на кровать свою шляпу! Знаешь, почему?» – «Нет», – ответил Микки. – «Потому что в прежние времена шляпу оставляли лежать на кровати умершего, – объяснил Руди, – а еще

никогда нельзя пинать ногой консервные банки! Тоже не в курсе, почему так? Консервная банка символизирует гроб, к нему нельзя прикасаться, если не хочешь в нем остаться навеки. Нельзя также оставлять туфли у кровати мысками к двери, потому что вперед ногами выносят покойников… Ты сможешь все это запомнить?» – спросил Руди, снимая подтяжки и расстегивая на рубашке последние пуговицы. – «Да, – сказал Микки, вновь отступая на шаг и по-прежнему опасаясь, что Руди собирается подойти поближе, – а, когда свистят, тебе страшно? Слышал, рассказывают, тебе снятся потом кошмары!?» – «Да, негодующие вопли бывают невыносимы, но овации способны причинить еще худшее зло; ведь никто не знает, допустил ли ты в самом деле промах, как все подумали, или же это было нечто прекрасное; и наоборот, быть может, все начали аплодировать чему-то гадкому, мерзкому… ведь ничего больше не знаешь, ты там, внизу на арене, а наверху все орут, мечутся, машут флажками, гремит музыка, которую стараешься не слышать, ты один на один с ребенком, ты испытываешь божественный страх, боишься нападать, все сливается воедино – и страх, и ты сам, и ребенок – обо всем остальном ты позабыл, но во рту уже так пересохло, ты чувствуешь такую жажду, что остается лишь одно жгучее желание: напиться кровью и ощутить, наконец, свободу… А эти там, наверху, бесятся: если им не нравится какая-то мелочь, какой-нибудь жест, они швыряют в тебя сачки для ловли бабочек, спасательные круги, детские бутылочки с соской – черт знает что – тебя это унижает, а они ржут, в ход идут ночные горшки, рулоны туалетной бумаги, они могут швырять в тебя

игрушечные машинки, мороженое-эскимо, пластиковые сабли, детские мячи, пистолеты, – они выражают свое недовольство, а я продолжаю работать, во весь рот улыбаясь, и умоляю ребенка, как настоящего партнера по битве, сделать вид, что все это его, как и меня, не интересует; однажды они так разошлись, их крики стали причинять такую боль, что я вынужден был бежать прочь с позором, переодевшись женщиной и, скрючившись, пробираясь меж машинами скорой помощи позади арены...» – «Переодевшись женщиной?» – подхватил Микки, развязав узел на платье поклонницы. Руди стоял с обнаженным торсом. Между двумя мужчинами возникло некое замешательство: Микки сжимал в руках платье, словно собираясь обороняться; руки Руди застыли на застежке, сдерживавшей набухший член. На сей раз Руди и в самом деле подошел ближе к Микки, которому уже некуда было отступать. «Взгляни на мои шрамы», – сказал Руди, показывая Микки на маленькие и большие, слегка вздутые рубцы, покрывавшие руки, плечи, живот, бедра. С этими словами, почувствовав, что сковывавший его страх исчезает, Руди расстегнул облегающее трико, растянул намокшую ткань защитного чехла и вытащил наружу длинный, немного разбухший от крови член. Перепугавшись, Микки хотел было ударить скрученным платьем, чтобы отразить натиск Руди, потянувшего к нему расстегнуть рубашку. «Не бойся, – сказал Руди, – ничего не случится; ничего не может случиться; даже, если бы мы хотели, чтобы что-то случилось, нам воспрепятствовала бы иная сила; потому что оба мы – инфантеро, ты – ученик, я – учитель; инфантеро лишены того, чего ты так опасаешься,

выдавая себя во взгляде, равно как и самого влечения, их сдерживает священный долг; все наши похождения – это легенды, россказни об оргиях и кокаине служат всего лишь прикрытием, оно подобно плащу, которым мы размахиваем перед носом ребенка, чтобы отвлечь, сбить его с толку; инфантеро не имеют отношения ни к чему плотскому, никто из них не спит ни с женщинами, ни с мужчинами; мы остаемся девственными; только мы сами знаем об этом, такова наша тайна; поэтому нас женят на невинных малышках, девочках одиннадцати, двенадцати лет, с которыми мы приносим обет лишь для рекламных целей; придуманный Лобстером дом терпимости посвящен целомудрию; не бойся, если бы я попытался к тебе прикоснуться, – мне ведь чуточку этого хочется, – ничего бы не вышло, ты бы ничего не почувствовал, ничего бы не ощутил, мои ласки были бы словно бесплотными, – никакой радости, никакого наслаждения, никаких сожалений, мы – избранные, теперь ты понимаешь?» – «Я обещал свой член брату, – признался Микки, – он так его хочет, но я велел ему ждать, пока член станет еще больше и толще и сможет утолить жажду, тихонько его придушив…» – «Брат может отведать твой член лишь в невероятных мечтах, поскольку на самом деле он не достанется никому – ни ему, ни мне – лишь твоему ангелу-хранителю да сырой могильной земле», – ответил Руди, продолжая раздевать Микки. И вот Микки стоял уже голый, держа в руках скомканное платье поклонницы. «Я дарю тебе свой костюм, – сказал Руди, принявшись теперь его одевать, – ты облачишься в него для церемонии посвящения, в нем тебя коронуют».

Руди поднял руку Микки, чтобы надеть на него болеро: он нарочно забыл про рубашку – под разукрашенными, расшитыми золотыми блестками полами гранатового оттенка проглядывало молочное тело, Руди повязывал вокруг талии пояс. Он так и не снял до конца свое нижнее белье, в котором, словно обезумевшее сердце, вздрагивал хуй; наклонился, чтобы стянуть черные мягкие туфли и розовые чулки, и сразу надел их на ноги Микки, сидевшего на краю софы. Руди склонил голову, как ребенок в момент, когда он бросался на него и подскакивал, нанося финальный удар; волосы над затылком у Руди были убраны в плотный сетчатый шиньон; не думая о том, что он делает, Микки вытащил шпильку и сдернул кружево, смотря, как волосы спадают теперь на плечи. Затем надел на своего мэтра длинное черное платье поклонницы. Протянул Руди руку, чтобы тот встал и прошелся немного по комнате, расправив волосы и прикрыв ими глубокое декольте, шедшее до самых ягодиц; несколько мгновений Микки верил в то, что делил эту спальню с женщиной.

На следующий день Руди втайне отправился в пригород по хранившемуся у него адресу, которым, как он думал, никогда не воспользуется, – к цыганке, чтобы просить ее избавить Микки от той силы, которую он еще никогда не пускал в ход и которая, тем не менее, вызывала определенные опасения. Цыганка его выслушала, попросила снять темные очки, чтобы посмотреть в глаза, попросила у него фотографию Микки; фотогра-

фии у него никакой не было, поэтому он постарался его описать: «Волосы, кажется, черные, а глаза светлые, как у меня, впрочем, я не вполне уверен, я не очень обращаю внимание на то, как выглядят парни, сейчас вот думаю, быть может, он даже блондин, он чуть выше или чуть ниже меня, короче говоря, почти такого же роста, но моложе, наверное, лет на десять или же чуть больше, не спрашивал, сколько ему лет...» С таким описанием цыганке оставалось лишь объявить следующее: «Принесите клочок от нестиранного воротника его рубашки или подушки, на которой он спал. И магнит, который тайком потрете о его тело в любом месте, которое подвернется, только хорошо потрите, да?! И с того момента уже не смотрите ему в глаза. Ежели при мысли о нем захочется перекреститься, сделайте это ногой. С момента, как появится первая звезда, не ходите прямо, а перемещайтесь крестообразно. Дам с собой лист салата, который жевала жаба, и кусок хлеба, обгрызенного крысой. Ежели красавчик все это съест, считайте, дело наполовину сделано. А ежели принесете в склянке немного воды, которой он мыл свое мужское достоинство, смогу применить чары. Тогда может и повезти. При всяком раскладе, пришлите пряжку с его башмака, это самое главное. Начиная ровно с полуночи, повторяйте первое заклятие. Сейчас раскрою, какие там слова, запоминайте мгновенно: „С тремя тебя заклинаю, с тремя тебя призываю, с тремя тебя завлекаю! Кровь твою выпиваю! Сердце твое вырываю!“» Руди без труда заучил присказку; в полночь он на всякий случай ее повторит; он знал, что никаких пряжек на башмаках у Микки нет, да

и башмаками это не назовешь, а все остальное, что требовала от него чавела, казалось ему слишком сложным, он заплатил ей и отправился восвояси, думая, что больше они не увидятся.

План Лобстера сработал: после отважного появления Микки и рассказывающих о нем газетных статей директора́ всех площадок без исключения хотели быть первыми, у кого выступит юное дарование. Лобстер на их запросы не отвечал, чтобы ставки выросли еще больше. Он сказал Микки: «Все же не будем делать им такого подарка, теперь-то, когда ты стоишь дороже золота! Они получили бриллиант из воздуха и вполне заслуживают, чтобы его у них отобрали! Устроителем спектакля буду я сам! Интерес публики, подогреваемой прессой, только растет, любая арена слишком мала, чтобы устроить на ней твое первое настоящее выступление, но у меня есть мысль: мы построим передвижную арену, – огромную, грандиозную, – с дополнительным оборудованием, чтобы можно было поехать в турне. Тебе не о чем беспокоиться: Руди будет твоим наставником, пресса такое подхватит, ведь это он помог тебе добиться успеха, он – мой первый подопечный и продолжит обучать тебя профессии; кстати, чтобы никто сторонний в это дело не вмешивался, я нанял актеришку, соглядатая по прозвищу Самородок, чтобы следил за этим, всю жизнь он только и делает, что терпит одни неудачи, поэтому он еще на плаву: если будет вертеться где-нибудь рядом, с вами самими уж точно ничего не случится; я сразу забираю у тебя двадцать процентов, – столько же я беру у Руди – ты сам платишь квадрилье, оплачи-

ваешь жратву, бензин и гостиницы; вот увидишь, скоро все устаканится. Я буду с тобой откровенен, Микки: тебе не надо больше ни о чем беспокоиться, теперь не раздумывай, хорош ли ты в самом деле или же плох, не грузи себе голову, не думай, есть ли у тебя божественный дар или нет, – никогда прежде я не покупал столько рекламных полос в газетах; все статьи тебя прославляют, они уже написаны, я сам вносил правку; единственного писаку, который отнесся к тебе с недоверием и все никак не мог успокоиться, мы хорошенечко подлечили: я велел вручить ему – и теперь ты об этом забудешь – ключики от белого Мерседеса; видишь, на что только я не готов ради тебя! Но не благодари, я ведь сам заинтересован. Такая уж профессия...» Лобстер в номере отеля «Реджина», который занимал Микки, замер, словно уйдя в себя, в мечтательной тишине, нарушив ее лишь затем, чтобы проговорить шепотом как бы самому себе: «Все ведь так обернулось еще и потому, что ты – красавчик... Так что не порти свою мордашку...» – «Почему вы столько для меня делаете?» – снова спросил Микки в очередном приступе простодушия. – «Скажу тебе правду, – ответил Лобстер с серьезным видом, в котором проглядывало, как он устал, – я столько для тебя делаю... Потому что... Потому что ты мне совершенно безразличен».

С тех пор, как Микки ночевал в гостинице, снов ему больше не снилось. Радиатор будил его на рассвете, тотчас вкладывая в ладонь моток тяжелой железной проволоки, чтобы рука была

готова взяться за меч. Они отправлялись тренироваться на поле боя. По мановению щедрой руки Лобстера мопед превратился в черную Панду, а несчастная кукла – в манекен на шарнирах, похожий на настоящего робота, обтянутого прочной кожей, защищавшей руки Радиатора от заносов. У Микки было теперь несколько комплектов сменной одежды, он учился двигаться так, чтобы в момент атаки не запачкать костюм кровью и, гордо встряхивая головой, не потерять шиньон, после тренировки он сразу шел позировать для фотографов. Руди с ним больше не разговаривал: когда они встречались в коридорах отеля, готовящийся вновь продемонстрировать свое величие инфантеро уже не смотрел на младшего, которому слава досталась благодаря случайности, какому-то чуду или просто-напросто по оплошности. Единственными, кто не бросил Микки во всей его славе, были Несравненные и Забияки, постоянно ругавшиеся между собой, поскольку и те, и другие утверждали, что это они первыми свели знакомство с Микки и сделали его своим символом. Обе банды крутились где-то поблизости, включая вечных своих паразитов – старого Бананчика, гомика Сардинку и Нароста – последний склонился перед Лобстером, вновь взявшись за ремесло чистильщика башмаков. На грохочущих драндулетах они летели вослед черной Панде, где в перегретом салоне сзади сидел, скрючившись, как если бы он жутко мерз, Микки. Не ведая никакой особой науки, Руди передал ему вместо нее свою веру в приметы: уходя из номера на тренировку, Микки в запале бросал Радиатору всегда одну и ту же фразу: «Не выключай свет!», словно это был

ритуал, который требовалось свершить перед сражением, чтобы вернуться в номер живыми и невредимыми. И вот настал день его посвящения, и Радиатор, выходя первым, специально оставил свет зажженным, и Микки сказал ему: «Нет, выключи, погаси все! Хочу, чтобы было темно, совсем темно, когда мы вернемся!»

Накануне вечером Микки отправил брата в сооруженный из фанеры барачный лагерь возле передвижной арены, где было полно детей, выбранных для скорого жертвоприношения. Он принял обычай всех инфантеро, когда посылают лакея, чтобы узнать о детях побольше. Босоногий старик с длинной белой бородой – прорицатель – кидал в детей маленькие камушки, предсказывая, кому они могут принести удачу и кого могут погубить. Лакеи присутствовали при жеребьевке, в которой разыгрывалось, какому из инфантеро сражаться с тем или иным ребенком: в шляпе лежали клочки папиросной бумаги с написанными на них номерками. Радиатор смотрел за всем в оба: Лобстер, пришедший якобы для того, чтобы защищать интересы двух своих протеже, тихонечко смачивал обрывок бумаги, сворачивая его затем так, чтобы влажная сторона оставалась сверху и легко могла приклеиться к опущенной в шляпу руке; таким образом, ему удавалось назначить самых резвых и, соответственно, менее опасных детей Руди, избавиться при помощи Самородка от изголодавшихся и истощенных, а Микки предоставить детей из категории средней – не квелых и не здоровых, то есть, быть может, самых

непредсказуемых. Вернувшись в номер, чтобы рассказать о жеребьевке и найдя Микки совсем удрученным, Радиатор решил сообщить ему, что все прошло без нарушений принятых правил.

В мгновение ока Микки очутился на арене: он был уже здесь, между Руди и Самородком, квадрильи смешались в единую стаю, возглавляли шествие эти трое, продвигавшиеся вперед, опустив голову и глядя в песок, размахивая фиолетовыми и розовыми плащами, разминая кисти рук, покачивая бедрами, растягивая мышцы ног и проверяя, прочно ли стоят они на площадке. Незадолго до того, как Микки выбрался из отеля, к нему, словно ураган, нагрянул Лобстер со шприцом, с которого капало, он насильно вколол ему что-то в руку, пройдясь при этом по всем фалангам, уверяя, что только что проделал эту же операцию с Руди и вещество из шприца укрепит мышцы и выровняет все рефлексы. Микки руки больше не чувствовал, теперь казалось, что у него на теле какое-то свинцовое устройство, которое может крушить что угодно даже помимо его собственной воли, и при этом ему будет казаться, что он лишь слегка чего-то коснулся. Трибуны были переполнены: двадцать пять тысяч мест распродали всего за три дня с помощью перекупщиков и служащих Лобстера, которые попридержали вначале около десяти тысяч билетов, чтобы взвинтить цены. Толпа продолжала прибывать, заполняя проходы из клееной фанеры; топтавшиеся снаружи вопили от ярости, поскольку дешевых мест не осталось и они не могли купить те билеты, которые протягивали им мошенники, бормоча просто заоблачные

цены. Те, кто помоложе, пытались перелезть через заграждения, за брезентовым занавесом их встречала охрана с собаками; специально для таких случаев Лобстер нанял целый отряд, в котором можно было узнать кое-кого из Забияк. Все были уверены: Руди начнет проигрывать, подтверждая слухи, что время его прошло; зрители хотели увидеть грандиозный провал, который развенчает кумира, фанатично возведенного ими на пьедестал, чтобы сразу же заменить его кем-то новым. Жара стояла изнуряющая, собиралась гроза, все это способствовало кровожадному настроению публики, приготовившейся к линчеванию и уже заметившей, что пот с Руди течет ручьями, а Микки будто совсем не потеет. Тем не менее, Руди был совершенно спокоен, как человек, к которому снова вернулись силы, хотя все вокруг думали противоположное; Микки в это время вспоминал об идиотских вещах, из-за которых у него не получалось ни одно из заученных досконально движений, а те следовало выполнять, не отклоняясь от правил. Когда к нему подскочил ребенок, он был совершенно не в состоянии определить, что именно тот собой представляет, какой у него нрав и, главное, каковы его силы, в этот момент Микки думал: «Как же я сглупил, сказав Радиатору, чтобы он выключил везде свет! Это не принесет никакой удачи… И что это мне взбрело в голову?!» Казалось, это ребенок нападает на Микки, пытаясь его уничтожить, а Микки бежит прочь, увертываясь от ударов и глупо прикрываясь плащом. Микки искал, где же выход. Плащ, который использовали столь недостойно, заартачился, взбунтовался и вместо того, чтобы дразнить ребенка, принялся нападать на собственного владельца. Из складок

вдруг зазвучала музыка, плащ то раскрывался, то выворачивался, и издаваемые им звуки были похожи на шум раздолбанного аккордеона; плащ скрипел и гудел, как куча сиплых клаксонов; публика хохотала, судорожно проверяя, на месте ли в сумках принесенные из дома вещицы, которыми они рассчитывали одарить опозорившегося Руди, вопя и задыхаясь от переполнявшей ее злобы. Все эти безудержные проявления породили у Микки чувство, что мечта сбывается и сейчас он превратится в великого инфантеро, которым так хотел стать; наблюдая за происходящим и пытаясь подавить в себе болезненное ликование, Руди в этот момент думал, что полюбил юношу всем сердцем, как если б тот был его сыном или братом. Он не мог высказать этого Микки: плащ, которым, казалось, управляет на расстоянии силою мысли ребенок, разгневавшийся из-за нанесенной тому раны, бился в разные стороны, как одержимый, и теперь – когда Микки собрался было, хорошенько его встряхнув, отшвырнуть плащ подальше – раздулся, став похожим на подвесную боксерскую грушу. А от того, что происходило дальше, зрители просто остолбенели: с каждым движением Микки стал уменьшаться, мышцы на руках и ногах таяли, волосы на теле исчезли, кадык пропал; все взгляды были устремлены к центру арены, где худой мальчуган с узенькими плечами ютился в тени колосса, который все увеличивался и мужал, постепенно лишая силы того, что стоял напротив. Светящийся костюм на мальчугане обвис, великан возвышался над ним полуголый, и теперь было уже совсем не понятно, кто из них лидирует в этом сражении, и кто жертва. Перепуганный вусмерть ребенок призвал на помощь небесные хляби, и с первы-

ми еле слышными словами молитвы припустил дождь. Он лил с невероятною силой, затопляя все, что было внизу, это было настоящее наводнение, ни о какой церемонии посвящения не могло быть и речи, казнь тоже откладывалась. Воздух сверкал не от множества прозрачных и легких нитей, а от настоящего шквала из копий и гарпунов, вонзавшихся в песок и взметавших облака пыли. Избавившись от былого ужаса, Микки вновь стал прежних размеров и обрел свои силы, он отбивался от Радиатора, примчавшегося на помощь, чтобы скорее его увести, теперь он был один в маленькой часовне неподалеку от передвижной арены.

Дыхание сбилось, одежда и волосы были мокрыми, болеро приклеилось к телу коркой, трескавшейся при каждом вздохе, казалось, грудная клетка вздымается какой-то иной, чужеродной силой, распиравшей его изнутри, царапавшей горло, рвавшей кишки, Микки вновь очутился в часовне, склонился там перед статуей Девы, дрожа и пытаясь произнести молитву, которой жаждало его сердце, а дух старался сотворить по правилам, слова подымались откуда-то из глубин, губы силились что-то произнести, но все застревало в горле комком, который мог выйти лишь с криком. Такой статуи он никогда прежде не видел, как именно она называется, он не знал, а внизу подписи не было; статуя казалась совсем обычной, такие отливают большими партиями в гипсовых мастерских для дальних загородных часовен. И никогда прежде Микки так не влекло, не тянуло, не гнало к фигуре из гипса с протянутыми навстречу раскрашенными руками и смирен-

ной улыбкою на лице. Ему чудилось, что молитва должна проникнуть внутрь статуи, что он сам может в ней схорониться в той полости, которую при формовке специально оставляют пустой, чтобы снизить стоимость и с легкостью перевозить статую с места на место; он хотел спрятаться внутри, дабы избавиться от кошмара сражения, свернуться калачиком, словно в тайнике или барокамере, потеряв память, и выбраться потом запросто, налегке, будто ясным и беззаботным утром встав из детской кроватки. Молитва его творилась безмолвно, не достигая губ, он страшно дрожал; прервавшись, чтобы немного прийти в себя, он решил припасть к стопам статуи и приподнял край платья, спадавший на пьедестал, к счастью, у этой статуи они были, гипсовые стопы расцветили светло-бурым, ногти подкрасили розовым. Микки любовно посасывал большой палец, сплевывая мел, когда тот становился совсем влажным и едким. И тут вдруг понял, что во рту у него оказался клок черной шерсти. Он остолбенел: намокший от слюны гипс стал шелушиться, в трещинах меж обесцвеченным слоем проглянула красноватая смердящая плоть, от которой шел легкий дымок, стали видны целые куски, поросшие длинной и черной шерстью, горячие вздутые шишки; с невероятной скоростью росли острые когти, заворачивающие на концах, как мыски на мамлюкских бабушах; прорезались, словно два мощных острия, попирающих пьедестал, большие каблуки, какие бывают порой у сабо. Микки в ужасе снова поднялся: что-то вытянутое, уродливое колыхалось под платьем Девы, пытаясь порвать юбку. Микки взглянул вверх: казалось, статуя по-прежнему улыбается, однако кротость с

ее лика исчезла, теперь рот щерился, губы надулись, словно собираясь на него плюнуть. На лбу показались два влажных студенистых зеленых нароста, походящих на гигантские рожки улитки. Микки собрался было уже отступить, готовый в любую секунду дать деру, но статуя, хохоча и воя, сорвала с себя платье, обнажив волосатый вздутый живот, под которым торчал рдеющий пенный нарост, полный трухни; существо в сабо с когтистыми мысками уселось на корточки, схватив лапами Микки за голову и прижав его ртом к здоровенной елде. Вскрикнув, Микки увернулся от крючковатых клешней, кожа на которых лопалась, испуская тошнотворную вонь. Существо, продолжая хохотать, повернулось задом, раздвинуло руками чернющие растрескавшиеся ягодицы и принялось пердеть, пуская дымные пулеметные очереди. В часовне запахло тухлятиной, фенолом и забродившим медом, вонь была удушающей. Все ужасы арены показались Микки в этот момент детской забавой, ему хотелось лишь одного: вернуться обратно и как можно быстрее прикончить брошенного там мальца.

Дождь прекратился, но вода продолжала творить свое дело, устремившись в глубины земли, превратившейся теперь в пенную жижу, со дна которой поднимались и лопались на поверхности огромные пузыри. На арене было теперь сплошное месиво, ноги у Микки вязли, каждый шаг давался ему все сложнее. Публика почти скрылась где-то там за туманом; ребенок, которого Микки собирался снова атаковать, маячил вдали, весь перепачканный грязью; напрасно

Микки пытался к нему приблизиться, он теперь едва его различал. В окружавших его тенях Микки пытался различить знакомые очертания, старался отыскать брата, Руди или хотя бы Лобстера, тогда бы ему стало легче; но все, кого он окликал, призывая на помощь, сразу же исчезали. Левая нога провалилась еще глубже в зыбучую землю; пытаясь выбраться, он неосмотрительно наклонился над жадной топью, погрузив в нее правую руку, которая тоже увязла столь быстро, что уже ничего нельзя было поделать. Он провалился по пояс, но еще вертелся, барахтался, пытаясь выбраться за пределы, сужавшиеся с каждой секундой, с каждым проблеском мысли, все больше сковывающие ту часть тела, что была еще над поверхностью, затягивая его все глубже и глубже. Микки чувствовал, что ему уже не хватает воздуха; тело было зажато, словно в тисках, там, внизу, все сжималось и сжималось сильнее, стремясь выдавить из него последний вздох, увлекая все глубже в вязкую воронку мальстрема. Волосы у Микки были светлые и кудрявые, глаза голубые; если смотреть сбоку, лицо с высокими скулами казалось чуть угловатым; было ему двадцать лет; на перепачканных грязью плечах сверкала золотистая пыль.

III

Игра заканчивается, когда все зверипопали к дьяволу и стали его верными псами[5]

5 По словам Гибера, эта цитата взята из «свода правил для подростков XIX века». Скорее всего, речь о правилах настольной игры.

«Ацтеки, – говорил Кит, склонившись над раскладушкой, в которую уложил Микки, – приносили детей в жертву богу дождя Тлалоку. Жрецы отводили их на вершину горы; поход длился долгие дни и ночи; детей не кормили, но поили настоями и давали жевать вызывающие видения корешки; чтобы они не спали, жрецы рассказывали им сказки и пели песни; по дороге они вырывали им ногти, чтобы дети рыдали, поливая слезами гору; на вершине стояла плаха, куда клали связанные по рукам и ногам изможденные скрюченные тела, простертые, чтобы удобнее было рассечь тесаком грудь и отыскать сердце; жрец опускал руку и, вытащив трепещущий орган, обрывал уцелевшие вены, из которых фонтаном брызгала кровь, он кидал сердце в полную до краев чашу и, взяв на руки маленькое, подрагивающее, измученное, распотрошенное и окровавленное тельце, швырял его вниз с горы; там ждал отец или наставник, или брат, или друг, сразу же подбегавший, когда что-то падало; в компании с ним был потрошитель с острыми лезвиями; распознав в кровавом месиве знакомые черты, человек у подножья горы лобызал изуродованные, но, кажется, чуть улыбающиеся губы и потом отдавал этот мешок

с костями трупных дел мастеру, который принимался счищать жир и кромсать нервные окончания, отбрасывая ненужные сочащиеся куски в сторону; совершая множество умелых надрезов, крайне бережно обращаясь с кожей на голове и там, где болтался меж ног нежный мешочек, сразу же ловко все протирая там, где только что провел скальпелем, словно выписывая какой-то рисунок, он медленно отделял от плоти ее покров, еще

словно трепещущий, наконец, он сдергивал его целиком, отрывая от пальцев ног, и отдавал своему нанимателю; разделанное, расчлененное тело становилось теперь никчемным куском мертвечины, которую кое-как хоронили, пиная ногами и предоставляя довершить дело червям и букашкам, но снятая с него кожа, сохраняющая абрис спины, затылка и ягодиц, без единого заметного шва, превращалась в великолепный, роскошный двусторонний убор; как если бы стоял страшный холод, а он таил в себе нежное тепло меховой шубы, как если бы началась страшная жара, а он был пропитан свежестью влажного белья и желанной прохладой, отец или брат, иди друг, или наставник спешил тут же облачиться в этот как будто бы еще живой наряд, чтобы тот прильнул к его бедрам, спине и плечам и остался на нем навеки; из кожи, что облегала прежде детскую голову, из волос, из препарированных улыбавшихся губ, что похожи на прорезь в какой-то маске, получался теперь капюшон, который защищал от беспощадного ливня и жгучего солнца; одна кожа льнула незаметно к другой, как если б их сшили; каждое мгновение она напоминала ему о себе миллионом никому не видимых поцелуев; и скор-

бящий отправлялся в путь, чтобы весь остаток дней просить милостыню, навсегда соединившись с невидимым своим супругом, со своим пугалом, которым помавает на порогах почтенных домов, словно прокаженный трещоткой, чтобы дали ему диковинных перьев, которые он на что-нибудь обменяет вдали отсюда, далеко, на иных берегах...» Микки казалось, что это сон. Пока он все глубже и безнадежнее погружался в вязкую топь арены, ему вдруг почудилось, что среди теней, старающихся как-то пройти по зыбкой трясине, он различает фигуру человека, спешащего на помощь, и прямо перед тем, как лишиться чувств, он распознал в ней – могло статься, фигура эта была уже порождением сна – распознал в ней Кита. Жижа уже вот-вот должна была хлынуть в рот Микки, но человек, который, казалось, мог перемещаться по ней, даже не пачкаясь, принялся вызволять Микки, хотя топь уже обволокла его тело, лишив всякой возможности двигаться; тот рыл одною рукой, мощной, будто ковш экскаватора, движущейся быстро, словно бурав, и в то же время с изяществом и осторожностью, какие бывают у лучших танцоров. Вытаскивая Микки из булькающего месива, которое чуть было не стало могилой, он нашептывал ему что-то, но смысл слов ускользал от еле живого Микки: «Ты больше не увидишь ни Руди, ни Лобстера, забудь о них, как если б они тебе пригрезились и никогда не существовали; твоим спутником и партнером будет отныне Кит; я спасу твою жизнь, а ты в обмен на это поможешь мне достичь моих собственных целей...» Когда он пришел в себя, слова Кита уже потонули в забвении, куда кану-

ли вместе с ними и лица. Это были чары, подействовавшие на него незаметно. Микки успокоился, избавившись от того гнета, что беспрестанно заставлял его думать о детях, мечтать о том, как он на них нападает, пронзает мечом. Он освободился от прежних фантазий, теперь он был в полном распоряжении Кита. Охотник за головами одет был иначе, нежели когда встретился ему на дороге или мелькнул потом в подпольном публичном доме, где его пытались продать: казалось, Кит в чем-то вымазался, но это было только уловкой, искусным макияжем, таким же поддельным, как и усы; он словно бы располнел, и его мускулы были тоже словно бы накладные, голова стала как-то пошире, он напоминал потрепанный рваный шар; казалось, все детально продумано, вплоть до запаха, отдававшего мускусом; на нем была та же шляпа, что и прежде, однако края загибались иначе, а на тулье красовалась большая вмятина, по которой он время от времени злобно хлопал рукой, словно у него начался тик; мнимый разбойник продолжал нести Микки свою бесконечную околесицу: «Ацтеки, – продолжал он, – верили, что живут при пятом солнце, что светило это непостоянное, хрупкое и может погаснуть, и его надо постоянно подпитывать кровью жертв; согласно своим верованиям, они шли воевать и захватывали пленников, чтобы лишать их жизни, поэтому торговцы, стоявшие на социальной лестнице ниже воинов и желавшие к ним приблизиться, покупали и продавали рабов, которые во время обряда на верху пирамиды должны были следовать сразу за пленными… Самое невероятное, что все эти ужасы, когда вырывали еще бьющиеся

сердца, выдергивали ногти, чтобы дети рыдали, происходили не так давно; все это творилось в XV веке, то есть пятьсот лет назад, с тех пор сменилось всего поколений двадцать, не больше… Да и не так давно, в начале этого века путешественникам в Китае предлагали купить голых детишек, сидевших в висячих клетках: их можно было потрогать, просунув внутрь руку, чтобы распалить голод, оценить прелести и обсудить цену за их услуги… Нынче подобные грязные вещи, порочащие детей, совершают люди мерзкие, недостойные, скрывающиеся в подполье, у них своя каста, могущественная, как настоящая мафия, у них там круговая порука, и все молчат. Верховодит у них человек страшный, по кличке Башка, он никогда не показывается на публике, если же кто-то думает, что видел его, то он ошибается, на самом деле то было чучело, восседающая на сейфе огромная толстая кукла… У настоящего Башки есть халдеи, целая банда безжалостного отребья, которые похищают детей из дома или приюта, чтобы потом продать. Прежде чем принести их в жертву при всеобщем обозрении, они стремятся извлечь дополнительную прибыль, развозя детей по множеству принадлежащих Башке заведений, куда сразу же устремляются извращенцы со всего света, чтобы их поиметь. Эти люди, согласные на все, чтобы потворствовать своей похоти, друг от друга зависят, поскольку всем угрожает одна и та же страшная вещь: прежде чем влиться в тот узкий круг, что откроет им доступ к детскому телу, они должны подвергнуться компрометирующей их процедуре, то есть сфотографироваться с невинным ребенком во время постыдного

спаривания. Потом им стоит сделать один только неверный шаг, и вся шайка примется их шантажировать… Теперь ты понимаешь, зачем… Зачем… Я дал себе слово, что разоблачу эту банду, отныне я стану охотиться за их головами, а ты, Микки, меня к ним выведешь……»

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

„Цитомегаловирус “ был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.

Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний философ Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Марсель Жуандо

НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА

Гетеросексуальность – это коммерция, индустрия; гомосексуальность – искусство. Древние греки запрещали гомосексуализм рабам. Что до меня, я хотел бы, чтобы он был дозволен лишь мудрецам.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ОБРАЗЫ ПАРИЖА

«Образы Парижа» (1934) и «Новые образы Парижа» (1956) – собрание портретов обитателей великой столицы, людей и животных – «неповторимых, одиноких, слепых светил, вращающихся, не сознавая того, вокруг Бога». Величавая женщина из общественного сада, белая лошадь угольщика, «ночной мотылек» Фёдор, безумица в кафе, сборщица угля, спящий на набережной клошар, 30 слепых девушек, карманник из метро, попугайчики в клетке, злобная консьержка, навязчивый жандарм, сентиментальный бродяга и сотни других персонажей, встретившихся философу Марселю Жуандо на пути в городе, который с тех пор изменился до неузнаваемости и остался в точности таким же.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ

«Липсе сидел на обочине дороги, видом и облачением подобный ангелу. Земля была нежной, как ласка, и неподвижная улыбка моего друга меня успокоила. Я прижался головой к его сердцу. И тут же его руки превратились в огромный волшебный лес, где я увидел странных птиц и огненных хищников – львов и тигров, которые смотрели на меня с любовью и восхищением, словно я был местным божеством. Я позвал Липсе, и лес ответил мне его шепотом; каждый листок знал мое имя».

Рене Кревель

ТРУДНАЯ СМЕРТЬ

В 1925 году на вопрос сюрреалистической анкеты о самоубийстве Рене Кревель ответил «Это, возможно, самый верный и совершенный выход». Пьер Дюмон, герой его знаменитого романа «Трудная смерть» (1926), тоже не находит другого выхода. Он страстно влюблен в американского композитора Артура Браггла, а тот делает вид, что Пьер ему наскучил.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Гертруда Стайн

ИДА

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Тони Дювер

ОСТРОВ В АТЛАНТИКЕ

Тони Дювер считал, что дети и взрослые – два племени, объявившие друг другу войну. Война эта идет на острове в Атлантическом океане, где мальчики от 7 до 14 лет создают секретные анархические отряды. Кто грабит виллы богатеев? Почему умерла безобидная старуха? Когда испытываешь безбрежный прилив отвращения, тоски и страха, возникает безумное, абсурдное желание воровать.

Джослин Брук

ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя?

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Перелётный кабак», Мансуровский, 10

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

в *Украине:*
«Либра» librabook.com.ua

Эрве Гибер
ИЗ-ЗА ВАС Я ПОВЕРИЛ В ПРИЗРАКОВ
перевод Алексея Воинова